



# Уроки русской любви

100 ЛЮБОВИ  
ПРИЗНАКИ  
ИЗ ВЕЛИКИХ  
РУССКИХ  
ЛИТЕРАТУР



Составитель Мария Голованова

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ,  
АЛЕКСАНДР ГЕНИС,  
АЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ,  
СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ,  
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ  
О ГЛАВНЫХ ОТКРОВЕНИЯХ  
ПОСЛЕДНИХ 200 ЛЕТ

# Мария Константиновна Голованивская

## Уроки русской любви

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8639807](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8639807)*

*Уроки русской любви: антология / составитель Мария Голованивская.: АСТ: CORPUS; Москва ; 2015*

*ISBN 978-5-17-087294-7*

### **Аннотация**

Антология “Уроки русской любви” представляет собой корпус признаний из русской классической прозаической литературы от Карамзина до наших дней. В антологии также представлены эссе популярных современных писателей и журналистов к некоторым из включенных в антологию отрывков. Среди авторов Сергей Гандлевский, Александр Генис, Татьяна Толстая, Аркадий Ипполитов, Алена Долецкая и другие.

## Содержание

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Войдите, чтобы продолжить...                            | 5  |
| Повесть о Петре и Февронии Муромских (сер. XVI в.)      | 7  |
| Про прекрасную Василису Микулишну                       | 8  |
| Василиса Прекрасная                                     | 9  |
| Ничего личного                                          | 11 |
| Бедная Лиза (1792)                                      | 17 |
| Эраст и волки                                           | 19 |
| Дмитрий Самозванец (1830)                               | 22 |
| Лейтенант Белозор (1831)                                | 24 |
| Черная женщина (1834)                                   | 27 |
| Одна и две, или Любовь поэта (1834)                     | 28 |
| Тарас Бульба (1835)                                     | 31 |
| Капитанская дочка (1836)                                | 34 |
| Дубровский (1833, опубл. 1841)                          | 36 |
| Герой нашего времени (1838–1840)                        | 37 |
| Большой свет (1840)                                     | 40 |
| Кто виноват? (1845–1846)                                | 43 |
| Обыкновенная история (1847)                             | 47 |
| Обломов (1859)                                          | 50 |
| Подобно камбалам                                        | 60 |
| Обрыв (1869)                                            | 64 |
| Противоречия. Повесть из повседневной жизни (1847)      | 71 |
| Пошехонская старина (1887–1889)                         | 73 |
| Приключения, почерпнутые из моря житейского (1846–1848) | 77 |
| Рассказ Алексея Дмитрича (1848)                         | 82 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                       | 84 |

# **Составитель Мария Голованивская**

## **Уроки русской любви: антология**

100 любовных признаний из великой русской литературы

Фотографии Александр Тягны-Рядно

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко

## Войдите, чтобы продолжить...

### Мария Головановская

#### Несколько слов о книге

Трепетная любовь, пышные классические цитаты, намеки и шарады, Лев Николаевич – нынче опять в моде. Классика снова засочилась живительным соком, зацвела яркими цветами. И каждому до нее есть дело, и при каждом застолье она в чести. Хорошо это, и не надо “но”.

На самых вельможных обедах вместо погоды говорят теперь о письмах Цветаевой к дочери, Ахматовой к сыну и только потом подают горячее.

Полки протерли. Это еще вчера книжки раздавались направо и налево (а что мне с этим всем делать? Тургенева перечитывать я уже не буду!), выкидывались на помойки, а аллергия на книжную пыль была так же почетна, как депиляция ног и подмышек.

Но сегодня – иные времена, даже электронная книга оказалась не помеха, не конкурент: Лермонтов в воловьей коже с золотым тиснением по цене месячной учительской зарплаты, портсигары с тютчевской гравировкой “Умом Россию не понять” – все это обыденная атрибутика громогласного “сейчас, в котором какой бы кофе без кофеина ни процветал, какие бы девайсы ни искрились, а опереться хочется на дуб зеленый, на большие корни, на родную твердь, на благородного духовного предка, без которого нет ни респектабельности, ни фавору нынешней сытости.

Если загибать пальцы, то это третье пришествие русской классики. После революции и призывов “желтой кофты” “сбросить Пушкина с парохода современности” (и вместе с ним всю классику) случилась Большая война и оказалось, что на голой в этом смысле почве тридцатых никакое “Жди меня” не вырастишь. А без “Жди меня” на подвиг не тянет – солдату нужна любовь, та самая тургеневская девушка в нагрудном кармане. Умирать на войне – дело не авангардное и подвиг можется только за любимых, по старинке, а не за трескающих секс словно галету новых товарищей-дев, запивающих его по-солдатски стаканом воды, а то и водки.

Классика вернулась в войну, масштабно вошла в школьную программу и продержалась там, да и на книжных полках почти каждого советского дома вплоть до новых горбачевско-ельцинских времен, когда раскатисто заговорили пушки, по обыкновению задвинув муз в дальний угол. Помнится, много было дискуссий при раннем Горбачеве, шли тогда повсеместно собрания в трудовых коллективах с главным вопросом: надо разрешать капитализм или нет? Сомнения тогда гражданами высказывались большие, и главное из них как раз про классику: а читать-то господ-капиталисты когда будут? Так и вышло. Труба, деньги, стволы, для кого-то сроки, для кого-то добровольные и не очень путешествия, вихри разных направленностей, но все наконец-то осело, выпало в осадок, сухой остаток, несмотря ни на какие подборки любимых фильмов в айпаде и вечно клокочущий Фейсбук – русской любви иной, кроме как из этих русских книг, у нас нет, не придумали, а без любви в жизни нет и главного – счастья.

И вот опять вернулись любовные церемонии, кружевные слова, письма в виде эсэм-эсок со старомодными “я без тебя жить не могу”. Вернулась и заколосилась с небывалой исполинской силой романтическая любовь, иметь которую и нужнее, и престижнее любого из атрибутов глянцевої роскоши. И главное – интереснее, ведь без любви не только горько, но и очень скучно жить.

Эта книжка о, может быть, самом интересном в книжках. Чего греха таить, любовная сцена в любовном романе – дорожке кощевой иглы, чуть ли не самое привлекательное в нем. Собрание этих деликатесов еще и полезно: кто уже созрел для большого классического чувства, но романов пока не читал, может тут быстренько найти нужный рецепт признания. Пригодится она и тем, кто читал, но подзабыл, а времени перечитывать нет. Оценят ее и почитатели всякого vip-сервиса: нужное уже отрезано, взвешено и завернуто в золотую фольгу, а ненужное лежит себе в стороне и не мозолит глаз.

Помимо отрывков любовных признаний в Антологию включены два десятка современных эссе к некоторым из них. Совсем не каждый современный писатель, публичный интеллигент, остроумец и цитатолоб оказался готов высказаться предметно. Но порох в пороховницах еще остался. И будем надеяться, и нас, и русскую классику ждет еще большая жизнь. Полная любви.



## **Повесть о Петре и Февронии Муромских (сер. XVI в.)**

ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ (1500-е – сер. XVI в.)

Когда приспело время благочестивого преставления их, умолили они Бога, чтобы в одно время умереть им. И завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу, и велели сделать из одного камня два гроба, имеющих меж собою тонкую перегородку. В одно время приняли они монашество и облачились в иноческие одежды. И назван был в иноческом чину блаженный князь Петр Давидом, а преподобная Феврония в иноческом чину была названа Ефросинией.

В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, вышила лики святых на воздухе для соборного храма пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: “О сестра Ефросиния! Пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу”. Она же ответила: “Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь”. Он во второй раз послал сказать: “Недолго могу ждать тебя”. И в третий раз прислал сказать: “Уже умираю и не могу больше ждать!” Она же в это время заканчивала вышивание того святого воздуха: только у одного святого мантию еще не докончила, а лицо уже вышила; и остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала. И послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые свои души в руки Божии в двадцать пятый день месяца июня.

После преставления их решили люди тело блаженного князя Петра похоронить в городе, у соборной церкви пречистой Богородицы, Февронию же похоронить в загородном женском монастыре, у церкви Воздвижения честного и животворящего креста, говоря, что так как они стали иноками, нельзя положить их в один гроб. И сделали им отдельные гробы, в которые положили тела их: тело святого Петра, нареченного Давидом, положили в его гроб и поставили до утра в городской церкви святой Богородицы, а тело святой Февронии, нареченной Ефросинией, положили в ее гроб и поставили в загородной церкви Воздвижения честного и животворящего креста. Общий же их гроб, который они сами повелели высечь себе из одного камня, остался пустым в том же городском соборном храме пречистой Богородицы. Но на другой день утром люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили, пусты, а святые тела их нашли в городской соборной церкви пречистой Богородицы в общем их гробе, который они велели сделать для себя еще при жизни. Неразумные же люди как при жизни, так и после честного преставления Петра и Февронии пытались разлучить их: опять переложили их в отдельные гробы и снова разъединили. И снова утром оказались святые в едином гробе. И после этого уже не смели трогать их святые тела и погребли их возле городской соборной церкви Рождества святой Богородицы, как повелели они сами – в едином гробе, который Бог даровал на просвещение и на спасение города того: припадающие с верой к раке с мощами их щедро обретают исцеление.

## Про прекрасную Василису Микулишну

### РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Разве мне похвастать молодой женой Василисой Микулишной, старшей дочерью Микулы Селяниновича. Вот такой другой на свете нет!

У нее под косой светлый месяц блестит, у нее брови черней соболя, очи у нее ясного сокола!

А умнее ее на Руси человека нет! Она всех вас кругом пальца обовьет, тебя, князь, и то с ума сведет.

<...>

Пока послы собирались да коней седлали, долетела обо всем весть в Чернигов к Василисе Микулишне.

Горько Василиса задумалась:

“Как мне милого мужа выручить? Деньгами его не выкупишь, силой не возьмешь! Ну, не возьму силой, возьму хитростью!”

Вышла Василиса в сени, крикнула:

– Эй вы, верные мои служаночки, седлайте мне лучшего коня, несите мне платье мужское татарское да рубите мне косы русые! Поеду я милого мужа выручать!

Горько плакали девушки, пока резали Василисе косы русые. Косы длинные весь пол усыпали, упал на косы и светлый месяц.

<...>

Говорит посол князю Владимиру:

– Слушай, князь Владимир киевский, ты отдай мне Ставра, а я прошу тебе дань за двенадцать лет и вернусь к Золотой Орде.

Неохота князю Владимиру Ставра отдавать, да делать нечего.

– Бери, – говорит, – Ставра, молодой посол. Тут жених и конца пира не дождался, вскочил на коня, посадил сзади Ставра и поскакал в поле к своему шатру. У шатра он его спрашивает:

– Али не узнал меня, Ставер Годинович? Мы с тобой вместе грамоте учились.

– Не видал я тебя никогда, татарский посол.

Зашел посол в белый шатер, Ставра у порога оставил. Быстрой рукой сбросила Василиса татарское платье, надела женские одежды, приукрасилась и вышла из шатра.

– Здравствуй, Ставер Годинович. А теперь ты тоже не узнаешь меня?

Поклонился ей Ставер: – Здравствуй, моя любимая жена, молодая умница Василиса Микулишна! Спасибо, что ты меня из неволи спасла! Только где твои косы русые?

– Косами русыми, мой любимый муж, я тебя из погреба вытащила!

## Василиса Прекрасная

### РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолетья Василисе, – стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица; мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела; совсем житья не было!

<...>

К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе:

– Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе. – Старуха взглянула на товар и ахнула:

– Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому; понесу во дворец.

Пошла старуха к царским палатам да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил:

– Что тебе, старушка, надобно?

– Ваше царское величество, – отвечает старуха, – я принесла диковинный товар; никому, кроме тебя, показать не хочу.

Царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно – вздивовался.

– Что хочешь за него? – спросил царь.

– Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла.

Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками.

Стали царю из того полотна сорочки шить; вскрыли, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали; наконец царь позвал старуху и сказал:

– Умела ты напрять и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить.

– Не я, государь, пряла и соткала полотно, – сказала старуха, – это работа приемыша моего – девушки.

– Ну так пусть и сошьет она!

Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе.

– Я знала, – говорит ей Василиса, – что эта работа моих рук не минует.

Заперлась в свою горницу, принялась за работу; шила она не покладывая рук, и скоро дюжина сорочек была готова.

Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит: на двор к старухе идет царский слуга; вошел в горницу и говорит:

– Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук.

Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, так и влюбился в нее без памяти.

– Нет, – говорит он, – красавица моя! Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою.

Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадьбу сыграли.



## Ничего личного Евгения Пищикова

С Пелагеей Апариной из деревни Кручи Екатериновского района Саратовской области это произошло так: “Встретились Иван Егорович и Пелагея Ивановна на деревенской вечеринке весной 1946 года. А через месяц глянула в окно Пелагея – идет он прямо к их калитке. Сердце екнуло, как услышала стук. Вышла к нему, вытирая мокрые, в мыльной пене руки. А он помялся минутку и говорит: “Пожалуйста, если не против, выходи за меня замуж!”. Так Пелагея стала Апариной”. (Российский государственный архив новейшей истории, Д. 91, Л.78, 79.)

У Пелагеи объяснение в любви получилось совсем как в сказке.

В старой русской сказке, вот хоть из собрания Александра Николаевича Афанасьева, в трех томах, где тексты без возраста, без дна, если долго в них смотришь – затягивает; там бабка голубая шапка, война грибов, глиняный парень, который съел родителей, что его слепили, – бабку с прялкой и дедку с клюшкой: прожорливая русская Галатея; ну, и романтические, конечно, герои – дураки и девы со своим интересом. И Незнайка там живет не в Солнечном городе, а стоит в бычьем пузыре и в освежеванной бычьей шкуре посреди чужого сада – пугалом. Сюжеты совсем без радуг и розовых единорогов – жизненные. Всепримчивые. В афанасьевском “Морозко” привозит старик домой двух замерзших мачехиных дочек, та “рогожку отвернула и деток мертвыми нашла”. Но что ж делать? “Посердилась, побранилась, но после с падчерицею помирилась.

И стали они жить да быть, да добра наживать, а лиха не поминать. Присватался сусед, свадебку сыграли, Марфуша счастливо живет. Старик внучат Морозком страшал и упрямится не давал”.

Всякая сказка описывает повседневность. Смерть – повседневна. Любовь, чудо и смерть – части повседневности.

Злодеяние, порок и блуд – точно так же привычные и необходимые составляющие обыденного, а никак не удивление и не обрыв; вот и нынче в последних интернет-новостях читаешь, как в Санкт-Петербурге бордель нашли по запаху борща (там к услугам любосластия прилагалась домашняя кухня).

Жизнь рода непрерывна. Никакой личной рефлексии – никому еще не рассказали, что человек рожден для счастья. Сказочная, долитературная реальность не дает ни набора чувств-эталонов, ни словесного канона для выражения этих чувств – пожалуй, во всех фольклорных собраниях не найдешь ни одного лирического объяснения в любви. Есть несколько чувственных возгласов; в основном же речь идет не о любовном разговоре, но об уговоре, условии: “Благоверный же князь Петр послал одного из слуг своих, чтобы тот спросил: “Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду”. Она же без обиняков ответила: “Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его”» (Ермолай-Еразм, “Повесть о Петре и Февронии Муромских”), или договоре (иной раз самого фантастического толка): “Анастасия Прекрасная проснулась и, разбудивши Тугарина, кажа: “А что, ти будем биться, ти мириться?” Ен кажа: “Кали наши кони стануть биться, тагда и мы будим”. Во яны спустили своих каней. Кони панюхались и стали лизать адин другого, а воупасли начались пастись. Дак Анастасия Прекрасная и кажи Федару Тугарину: “Будь ты мне муж, а я тебе жана”. И, посадавши на каней, поехали домов. Живуть сабе до поживають, як галубки”.

И эта традиция любовного объяснения “как договора” вечная – по крайней мере, она сохранялась еще в послевоенной советской деревне.

Совпадение сценариев народных (деревенских) и сказочных любовных признаний бывает абсолютное, до усмешки.

Пошел Ванюшка домой. Приходит, рассказывает Марье: “Ну, матушка, видел я царскую дочку. Такое, матушка, несчастье – целый день она наряжается да в зеркала глядится, работать ничего не умеет, говорит – хлеб-то на елках растет. Да чай-то пьет не по-нашему – целую сахарную голову сосет”. А Марья смеется и говорит: “Ладно, Ванюшка. Ладно, ягодиночка. Я сама тебе невесту найду”. Поискала мать в деревне и нашла сыну невесту Настеньку. Хорошую такую девушку, хозяйку исправную, рукодельницу работающую”. Это из сказки “Ванюшка и царевна”. А вот запись воспоминаний Ольги Семеновны Калиновой (Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах, 1996; руководитель проекта профессор Теодор Шанин): “У Павла была городская невеста, я ничего не ждала, с нашей бедностью. Прихожу домой, там мой будущий свекр. Говорит свекр: “Я, мол, пришел тебя сватать”. Обычно присылают людей, сватов, а это он сам пришел, отец Павла-то. Говорит: “Мы давно про тебя, Ольга, мечтаем!”. Я самая работающая на селе была.

Или, скажем, сравните брачное предложение из сказки “Солдат и царевна”: “В золотых сундуках будет одежда лежать, как жар гореть!”, и историю Натальи Егоровны Шилкиной, которую в 1970 году звали замуж не менее симпатичным образом (записи из проекта профессора Шанина): “Он тогда еще когда уговаривал, говорил, что всю в золото ее нарядит. И действительно, накупил ей много, 16 золотых зубов у нее. И говорил в шутку, что она у него золотушная!”

Очевидно, что договор, или даже сватовство – как форма коллективного признания в любви (признания роя) ценится значительно больше любовной исповеди. И Вера Федоровна Шанеева, станционная буфетчица (станция Сибирь, город Мыски Кемеровской области), объясняет почему: “Он со мной не звенел, а уважительно попросил. Сказал: “Сестра старшая еще холостячка. Поэтому мамаша будет против нашей свадьбы. Но ты все же иди за меня!”». Социолог-интервьюер (запись устного мемуара Веры Федоровны находится в РГАНИ) пытается уточнить: “В каком смысле “не звенел”?” – “Не врал, не преподносил ничего, – отвечает Вера Федоровна Шанеева. – Я же в общепите всю жизнь, и по общепитам, наслушалась про любовь. А он – уважительные слова говорил, красивые”.

Для Веры Федоровны любовное признание – это некрасивые слова.

Древнее отношение к понятию красоты и некрасивости слова. “Некрасивые слова” – смущающие, лукавые, личные, разоблачающие, слишком красивые. Это постыдный речевой акт, соблазн, словесный грех, вербальный блуд.

Когда читаешь народные мемуары, интересно наблюдать за возвращением слову, затертому двумя с лишним веками неумолчного разночинного, гостиного, литературного разговора, первоначального смысла. “Красивое”, правильное слово то, за которым стоит не символ, а реальность, действие. Так, Анна Матвеевна Ганцевич (записи группы Теодора Шанина) сказала абсолютно точную, невозможную фразу: “Муж, случилось, изменял мне. Но я и не мыслила, что он уйдет от меня, так как он очень верный мне был”. За этой фразой – костяная, мозжечковая реальность. Сказочная, в которой, как в бесконечных вариантах Кошечева сюжета, старшие братья режут, расчлениают и обманывают Ивана-царевича, с тем чтобы присвоить его подвиги, “угрозами и улещениями” заставляют молчать его невесту и привозят девицу к отцовскому двору как собственную добычу. “Где же младший ваш брат?”, – спрашивает отец. “Не знаем, батюшка, мы с ним разминулись”. Что невеста,

царевно-золотые кудри? Молчит. Не погибать же впустую, за одни слова. Вани-то нету. По любому литературному закону – нет читательского прощения такой героине.

А по жизненному, сказочному канону (по “правде”) все идет как полагается. И только появляется у отца крыльца облитый утренним светом и живой водой Ванюша, как царевно тут же кидается на шею настоящему герою: “Вот мой муж, а братья лажу говорили”! Верная девушка.

Ничего не значат некрасивые слова. От них только “оголение”.

И один из самых очаровательных советских утопистов, литератор Семен Бабаевский, который в своем “Кавалере Золотой Звезды” с жюль-верновской поспешной хозяйственностью строил город солнца (электростанцию) в кубанском колхозе, тоже – верно, доказывая подлинную свою народность – подхватывает крестьянское недоверчивое и стыдливое отношение к любовному слову и, как бы превращая свой роман в окончательную сказку, отказывает сам себе в праве заниматься собственно литературной работой:

Знаю, есть еще у нас такие читатели, которые уже перелистывают книгу и забегают вперед: им-то нет дела до того, как блестела Кубань в разливе и какой цвет приняла трава после дождя. Им хочется скорее узнать, что произошло там, на кургане. Тут всякая мелочь не должна быть упущена. Если Сергей станет объясняться в любви Ирине, – а это вполне возможно, – то необходимо этот момент записать во всех его подробностях: сказал ли Сергей Ирине все, что думал, прямо, без обиняков, как и подобает фронтовику, или изъяснялся одними лишь намеками да улыбками; краснел ли при этом; что именно ответила ему Ирина; если же на ту беду у Сергея не хватило смелости, тогда надобно показать, откуда взялась у него эта робость: какой же это в самом деле Герой, когда у него в нужный момент не было храбрости... Но мы не станем потакать нетерпеливому читателю и оставим наших героев на кургане. Пусть они всласть налюбуются и влажной, теплой после дождя степью, и луной, бегущей между обрывками туч, а если найдут нужным объясниться, то пускай это сделают без посторонних свидетелей.

Как в Кубань глядел литератор Бабаевский.

Многое в слободской, общинной (в недавнем былом – крестьянской, а теперь и городской, и общественной жизни) произошло “без посторонних свидетелей”.

Теперь, когда суждения и идеалы народного Большинства оказались опять зримы и важны, стало заметно, что идеалы эти условно традиционны, но не проговариваемы (правильному человеку все понятно без слов) и до-индивидуальны. Центр независимого социологического анализа делал первым летним месяцем поэтический опрос: “Для чего живет человек?” Ответы в большинстве были даны по очевидному сценарию, цитатой из любимого фильма (который тоже, в общем, сказка о советских пятидесятых годах): “Жить, Хоботов, нужно не для радости, а для совести”. При расширении вопроса (что значит “для совести”) ответы были такие:

“Не только для себя, а для других, для всех”.

“Как нужно жить для всех?” – “Жить как все”.

Страна еще только позавчера была крестьянской (в 1924 году восемьдесят три процента населения – крестьяне); мы, как огурцы, на восемьдесят процентов состоим из общинного теплого и кислого, растворяющего личное. Жизнь вокруг – заумная, чужая, неладная, но если смотреть на нее древними общинными глазами, то все укладывается в несимпатичную, но понятную картину: наваливаются ползучие офшоры, вялотекущие ипотекушки, банкирки дань требуют, злые турки со своими стальными лебедушками за каждый русский квадратный метр золотом дерут, какие-то блютузы поганые, бука их бери, в карман лезут, на солнце греются государевы собры очковые.

И жизненные сюжеты – вечные.

Мажорка Несмеяна-царевна (вокруг нее роскошь, все есть, чего душа хочет, а она никогда не улыбается, потому “что ей нечего больше хотеть”) избавляется от чар и весело заливается у окна оттого, что будущий ее супруг, честный работник, засмотревшись на ее же красу, грянулся ж... й в грязь – это ж так же смешно, как Петросяна увидеть. Или “Шоу уральских пельменей” посмотреть. Но, кстати, и честный работник получает в награду понятный жизненный сценарий: поработал Петросяном, постоял на карачках в луже и стал богатым и успешным. А то за три копейки поле пахал.

А вот еще Иван Быкович, со свитою из братушек Обьедайло, Опивайло, Ерша, Парилы и Звездочета (и всегда-то в окружении крепкого быковатого человечка затешется какой-нибудь интеллигент), который женился на царевне, а той сделалось томно и тяжело, и захотела она стать звездочкой на небе. Тоже знакомая ситуация, мы таких звездочек видали.

В самых мелочах современное народное умственное хозяйство наследует и копирует архаичное: так, у Натальи Пушкаревой в работе “Мед и млеко под языком твоим...” есть замечательная запись о “татарском поцелуе”: “Любовное лобзание отличалось от ритуально-этикетного поцелуя тем, что совершавшие его позволяли себе “губами плюскати” – чмокать, шлепать губами, целуясь открытым ртом, а главное – “влагать язык”. В XIV веке в некоторых покаянных сборниках (речь идет о епитимийной литературе, используемой священниками во время исповеди для определения наказания за те или иные прегрешения) такой поцелуй именовался “татарским” (“Вдевала ли язык свой... вкладывал ли по-татарски, или тебе кто тако ж?”)”.

Потом, по истечении столетий, в русском любовном быту “поцелуй с языком” стал называться французским.

Полезное, терапевтическое и очень нынче популярное умение видеть басурманский след во всяком собственном грехе и оправдываться им.



И если до такой степени – сами того не до конца принимая, живем мы архаикой; безличной реальностью, то традиции современного народного любовного признания должны быть сказочными. Оно так?

Так и есть.

Мы приводили примеры из крестьянских мемуаров, описывающих послевоенную (где-то до 1980 года) поселковую жизнь, которая клубится между завалинкой, колодцем и рыночной площадью.

А сегодняшняя завалинка, колодец и рыночная площадь – это интернет; и примеры современного народного признания в любви следует искать в интернетлоре (термин корявый, но уже существующий, принят фольклористами нескольких школ).

На запрос “признание в любви” (девушке, парню, МЧ, мужу, жене) – три миллиона ответов; все первые страницы – это анонимные, расхожие сценарии объяснения. Сегодняшние “письменники”, что-то вроде огромного коллективного альбома дембеля и выпускницы одновременно. Там, конечно, полно “городского ромansa”, такого квазилитературного фольклора:

Пишу я тебе, мой любимый мальчишка,  
Что больше я жить без тебя не могу.  
Зачем ты мне каждую ночью снишься,  
Зачем я страдаю и слезы все лью?

Но большинство объяснений – другие. На твой стол, тебе в лицо вываливаются тысячи “рекомендуемых” признаний (например, SMS-признаний) – одинаковых, как пустые консервные банки: “Зайка, привет. Напоминаю тебе, что я люблю тебя! И я уже безумно скучаю по твоей улыбке, сексуальному голосу и прикосновениям. Помни, что ты мой самый дорогой человечек!” За “человечек” сразу надо убивать; “человечек”, “зая” и “киса” – страшные слова, “вуду-имена”, которые в секунду расчеловечивают того, кого так обозвали – сразу уваливают живого, отдельного человека в какую-то черную братскую яму, в коллективный ров, где нет ничего своего, ни единой личной подробности – ни горки, ни снега, ни дохлой жабы у калитки, ни детства, ни первого взрослого белья, ни даже первого мобильного телефона и первого селфи в примерочной.

В целом же процитированное признание – это классический пример “нуль-высказывания”, “пустой речи”, когда слова в предложении есть, но они не значат ничего. Слова в этом любовном предложении есть, но они не значат ничего личного. Ничего настоящего. Это все из прошлого. Это общинный гул, древние сказочные слова, обозначающие договор или уговор между двумя человечками, кисой и зайей. Мы все еще вместе, как муж и жена, я напоминаю тебе о том, что у нас все, как у всех. Голос у тебя, как и надо, сексуальный, ч/ю (улыбка) имеется, все у нас в порядке. Воркуем как гули, живем как в сказке.

И только изредка из всей этой объяснительной коллективной гладкости вылезает на белый свет какой-нибудь бледный похабный росток, и ты понимаешь, как росло личное в сказке. Из жеребятины и росло. И я наткнулась на великое, личное, “вечноличное” в самом конфетном, лощеном, народнейшем чате “Как сделать предложение девушке”: “Ничего не могу поделать – когда начинаю волноваться, хватаю себя за член. Это мешает мне объясниться с девушкой. Я привык, когда в детстве смотрел страшные фильмы, держал себя за член. Это как за руку друга подержаться”.

Вот так и спасемся – может быть. Вернемся в современную жизнь не через шансонную драму, не через богатырские клики, а через жеребятину. Сначала признаться самому себе, что ты маленький и слабый, потом признаться всему миру, что ты одинокий.

А потом признаться в любви девице, схвативши себя за штаны – в той тревожной любви, которая ищет собственные слова.

## Бедная Лиза (1792)

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН (1766–1826)

Вдруг Лиза услышала шум весел – взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке – Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и – мечта ее отчасти исполнилась: ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! “Милая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя”, и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и...

Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость – Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, – смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: “Люби меня!”, и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. “Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда ли ты будешь любить меня?” – “Всегда, милая Лиза, всегда!” – отвечал он. – “И ты можешь мне дать в этом клятву?” – “Могу, любезная Лиза, могу!” – “Нет! Мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?” <...>

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею. <...>

Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. “Когда ты, – говорила Лиза Эрасту, – когда ты скажешь мне: “Люблю тебя, друг мой!”, когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме Эраста. Чудно? Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен”. Эраст восхищался своей пастушкой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он об отрезвительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. “Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!” <...>

“Я умру, как скоро тебя не будет на свете”. – “Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу”. – “Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе – о слезах своих!” – “Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала”. – “Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое”. – “Думай о приятной минуте, в которую опять мы

увидимся”. – “Буду, буду думать о ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!”  
<...>

“Ах!” – закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя в Лизиних объятиях. Он побледнел – потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: “Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей – возьми их, – он положил ей деньги в карман, – позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и поди домой”.



## Эраст и волки Андрей Наврозов

Да что Карамзин, Карамзин, давайте сначала я расскажу, как это было. Ей было девять, мне – пять, страшное неравенство, а ведь любая страсть, бедной Лизы и богатого Эраста в том числе, на неравенстве и держится, неравенством окормляется и крепится. Так вот, она сказала: “Я выключу свет”. То есть не сказала, а шепнула. А потом, в фиолетовых сумерках той сорокаметровой комнаты в коммунальной квартире на пятом этаже жилого дома купеческой застройки на Лермонтовской, она дала мне понять, что, как человек интеллигентный, я обязан знать “про Бориса и Наташу в цветочной” и, вторя сюжету, поцеловать ее в темноте. В девятилетием возрасте она толковала Толстого, как Ренан – Христа.

А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящего! “Милая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя”, и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть.

Мысль о неравенстве приходит на ум не случайно, так как “Бедная Лиза”, подобно гениальному родоначальнику жанра романа, “Клариссе” Ричардсона, и его бесчисленным континентальным подражателям вроде “Опасных связей” Лакло, принадлежит к революционной эпохе – не той, что превратила купеческий дом у Красных Ворот в коммунальные пещеры, а той, что в советской школе называлась эпохой Великой французской буржуазной революции. Волоокая, застенчивая любовь буржуазии к вышестоящему сословию, переходящая, как часто бывает с глубоким чувством, в кровожадную ненависть, и циничная, похотливая любовь дворянства к удобствам, деньгам и дочерям буржуазии – вот хитросплетение страстей, сделавших идею *egalite* – равенства достоянием революции.

Ну, а как же народ, сословие нижестоящее? Народ безмолствовал, и буржуазия без зазрения совести этим пользовалась на протяжении как большей части XVIII, так и всего XIX века, говоря за него и таким образом придавая универсальность собственным чаяниям, обидам и претензиям.

Именно к этому немому сословию и принадлежит Лиза, дочь зажиточного поселянина, и именно голосом французского буржуа заговорил за нее Карамзин, сын среднепоместного симбирского дворянина. Революция, как известно, застала автора во Франции – еще не снискав всероссийской известности как реакционный историк, в ту пору он делал первые шаги на литературном поприще как либеральный до слез сентименталист. Неудивительно, что в Россию Карамзину возмечталось завезти не только свежие галлицизмы, дерзким введением которых в русскую речь он знаменит и поныне, но и идеологию народной воли, созданную французской буржуазией для прикрытия собственных социальных амбиций и, по законам того времени, преступных намерений.

В контексте большой истории французская революция была мимолетным увлечением, совращением народа мыслью о всеобщем равенстве, внушенной ему буржуазией. “Он говорил ей часто одну и ту же речь, – как иронизировал над такого рода целеустремленным внушением первый поэт уже совсем иного рода революции, – ужасное мещанство невинность зря беречь”. Соответственно, в европейских языках слово *libertine* означает не столько *свободолюб*, сколько *прелюбодей* – образ, восходящий к ричардсоновскому Ловеласу и, до него,

к преданиям о Дон Жуане, неустанно прославляющем “свободу” (“Viva la libertai”) в опере Моцарта.

Принял ли русский писатель революцию, как сказали бы двести лет спустя? С одной стороны, Карамзин считал, что “французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха. Я это вижу, а Руссо предвидел”. Однако, с другой стороны, преемник вольнодумца Руссо, зачарованный мифом о “природном состоянии” человека и боготворивший сорвиголову Шиллера за “Заговор Фиеско” с его республиканской пропагандой, охарактеризовал современные ему парижские события как бунт “хищных, как волки” цареубийц. Иными словами, сын степей будущей Ульяновской области был типичным попутчиком.

И нашим, и вашим. Природное состояние – хорошо, всеобщее равенство с сопливым братством – отлично, но и народ распускать нельзя, а залог сему – наш царь-батюшка, Божиею поспешествующею милостию Император и Самодержец Всероссийский. Именно этот смешанный сигнал и доходит до нас, как письмо в бутылке сбрендившего от одиночества островитянина, когда мы вчитываемся в прославившую Карамзина повесть.

Эраст восхищался своей пастушкой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. “Я буду жить с Лизой, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!”

Однако со временем герой, как это водится у аристократов, – вспомните “Аристократку” Зоценко, цапающую четвертое по счету пирожное, – наглеет, идиллия братства тает, как утренняя дымка над якобинской Сеной, а презрительное сладострастие возвращается, как сокол к рукавице знатного охотника. И вот, пастушка обесчещена:

Свидания их продолжались; но как все переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами, одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде восплял его воображение и восхищал душу.

Ну что же, “сошлись и погуляли”, как сказал Маяковский. Классовая аллегория, настолько прозрачная, что она воспринимается как вчерашний фельетон под рубрикой “Их нравы”, содержится уже в тенденциозной презумпции автора, что единственный стимул в поведении дворянина – чувственные удовольствия, любовные утехы и прочие барские забавы. “Voglio divertirmi!” – “Хочу поразвлекаться!”, как постоянно признается публике моцартовский Дон Жуан, не ведая, что его слова аукнутся лвиным рыком в нашей собственной, послереволюционной эпохе, когда и лакей Лепорелло станет господином: “I want to have fun!” К счастью, несмотря на все карамзинские и посткарамзинские нововведения, на русский язык эту крылатую фразу до сих пор идиоматично не перевести.

Вот развязка сюжета:

“Ах!” – закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя в Лизиних объятиях.

Он побледнел – потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: “Лиза! Обстоятельства переменялись; я помолвил

жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня.

Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей – возьми их, – он положил ей деньги в карман, – позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и поди домой.

Дотла проигравшись в карты – еще одна барская забава! – герой словно вспоминает о симбиотическом союзе дворянства и буржуазии, союзе, сплетенном буржуазией, как птичий силос, из любви и ненависти, и в этот силос попадает, возможно, успокаивая себя мыслью, что романтическая, сентиментальная любовь – это для птичек. Женится он, естественно, на “пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него”.

Ничего из вышесказанного подруга моего детства, по молодости лет, конечно же, не знала. Но вот в чем уникальность русской интеллигенции, даже в ее советском, как бы на дыбе истории преломлении: уже в девятилетнем возрасте она нутром чувствовала традицию отечественной словесности, восходящую к Карамзину, ожидая подобной же чувствительности и от меня, пятилетнего. Образ Наташи Ростовой, избитый до посинения в школьных тетрадях, многим обязан восхвалению Карамзиным крестьянской, пастушеской непосредственности бедной Лизы, да и вообще в мировоззрении Толстого много той идеализации “*le bon sauvage*” – “благородного дикаря”, которая на современный взгляд в изложении Карамзина выглядит столь примитивно.

Нить сострадания, подобно горней тропе причудливо выющаяся между неравенствами – сословными, этическими, половыми, – и в самом деле ведет от сельской арифметики “Бедной Лизы” к алгебре Толстого, дифференциальному исчислению Достоевского и далее, к нашим уже по-новому варварским временам. В 1931 году поэт, ради явления которого на земле, по моему скромному, однако всей жизнью выстраданному мнению, на протяжении предшествовавших тому веков и создавалась русская словесность, так суммировал мировоззрение путешествовавших этой горней тропею:

О том ведь и веков рассказ,  
Как, с красотой не справясь,  
Пошли топтать не осмотрясь  
Ее живую завязь.

А в жизни красоты как раз  
И крылась жизнь красавиц.  
Но их дурманил лоботряс  
И развивал мерзавец.

Венец творенья не потряс  
Участвующих и погряз  
Во тьме утаек и прикрас.  
Отсюда наша ревность в нас  
И наша месть, и зависть.

Парафразируя современника Пастернака, можно сказать, что мировая культура – это тоска по любви. В свете этой апофегмы доморожденные признания Эраста и Лизы, как и их последующие судьбины, какими условными и безжизненными они бы нам ни казались, безусловно ценнее того вороха испорченной бумаги, что зовется современной литературой.

## Дмитрий Самозванец (1830)

ФАДДЕЙ БУЛГАРИН (1789–1859)

Однажды, в pogodный сентябрьский вечер, Иваницкий сидел под ореховым деревом в саду возле Калерии и в задумчивости смотрел на небо. Некоторое время продолжалось молчание. Вдруг на глазах Калерии навернулись слезы.

– Любишь ли ты меня? – сказала она.

Иваницкий взял красавицу за руку, посмотрел на нее и сказал хладнокровно:

– Я люблю тебя, но не могу быть всегда предан одной только любви. Поприще жизни моей усеяно терниями: мне предлежат дела великие, голова моя не может всегда следовать внушению сердца.

– Скажи, какие несчастья угрожают тебе, какие дела ты намерен предпринять; я разделю с тобою горести и опасности; пойду на смерть с тобою! – отвечала Калерия.

– Нет, милая, это невозможно, – возразил Иваницкий. – Бывают случаи в жизни, где женщины не должны действовать, где любовь и нежность вреднее чувств самых ненавистных, где...

Калерия прервала слова Иваницкого:

– Ты перестал любить меня! – воскликнула она. – Любовь не может быть помехою в делах великих и благородных; напротив, она возбуждает к ним.

– Иногда, но не в моем положении, – отвечал Иваницкий хладнокровно.

– Мучитель! Зачем же ты вселил в меня любовь, зачем обманул меня! – воскликнула Калерия. Она побледнела, встала и сказала в сильном внутреннем движении: – Слушай! Судьба моя совершилась. Я отдалась тебе легкомысленно, но не думай, чтоб ты мог отбросить меня, как сорванный цвет. Иваницкий! ты посягнул на честь мою и заплатишь жизнью, если отважишься на мое поругание. С некоторого времени примечаю я твою холодность. Ты что-то замышляешь недоброе. Ты показывал нам письма от твоих родителей, но время летит, они не являются, и брак наш отсрочивается со дня на день, с недели на неделю. Брата моего нет здесь. Не ты ли удалил его? Но я не имею нужды в мстителе. Мой мститель на небе и поразит тебя вот этою рукою! – Калерия протянула правую руку и, помолчав, продолжала: – Я всегда страшилась любви; вкусив сладость ее, готова вкушать и горести, но не перенесу поругания. Если ты до сих пор не узнал меня, так познай теперь. В моих жилах течет кровь русская и кровь греческая. Как женщина русская я не снесу бесчестия; как гречанка буду уметь отмстить. Я жена твоя! Отныне мы неразлучны. Вместе жить или вместе умереть!

Иваницкий взял Калерию за руку, посадил возле себя, прижал к сердцу и сказал:

– Я люблю тебя, твой навсегда, но не могу явно вступить с тобою в брак до совершения моего великого предприятия. Знай, что царевич Димитрий Иванович, которого хотел умертвить царь Борис, жив и скрывается в Польше, в отдаленном городе на берегах Вислы...

– Царевич Димитрий жив! – воскликнула Калерия.

– Да, жив, и я первый друг его, первый его поверенный. Я ходил в Москву готовить умы к его возвращению, нашел везде готовность служить законному государю и должен возвратиться к царевичу, объяснить ему расположение московского народа, составить предначертание к завладению вотчиною его, Россиею. Любовь к тебе удержала меня четыре месяца; между тем я изменил долгу и присяге. Вот что меня мучит! Я должен поспешить к царевичу, возвратить ему драгоценное доказательство его происхождения, вот этот крест, – при сем Иваницкий показал Калерии алмазный крест, висевший у него на груди, – и отдать отчет в моем посольстве. Я русский – и не могу изменить законному государю, который мучится в ожидании меня. Теперь видишь ли, что я люблю тебя, поверяя тебе

тайну, с которою сопряжено более, нежели счастье и жизнь моя, сопряжено благо отечества? Итак, позволь мне отлучиться, повидаться с царевичем, овладеть престолом московским для законного государя, прославиться, достигнуть почестей и величия. Когда же подвиг наш совершится, я возвращусь к тебе, обвенчаюсь с тобою торжественно и повезу в Москву наслаждаться моею любовью, блеском моей славы, моего величия!

– Димитрий Иванович жив! – сказала Калерия. – Да ниспошлет ему Господь Бог успех в правом деле. Не стану удерживать тебя на поприще славы, но хочу последовать за тобою. Почему же супруга царского друга не может явиться к государю? Обвенчаемся, и я еду с тобою, буду улаживать труды твои нежным соучастием, оберегать в опасностях... Для любви нет ничего невозможного!

– Нет, любезная Калерия! я не могу явиться теперь к царевичу с женою. Мне предстоит много трудов, разъездов, переговоров. Я должен буду переноситься с места на место. Может быть, я должен буду искать помощи в Крыму, в Цареграде. Твое сопутствие подвергнет тебя и меня опасности и повредит делу. Ты знаешь уже, что я прибыл сюда с Леонидом в одежде инок. Эта одежда спасает меня от взоров любопытных и открывает вход всюду, где мне должно будет хлопотать тайно о делах царевича. Я не могу странствовать с женщиною.

Калерия задумалась и отвечала:

– Я не променяю блага отечества на собственное счастье. Иди, куда призывает тебя долг, честь и присяга! Оправдываю и цель твою, и средства, ибо для отечества должно всем жертвовать. Но мы можем обвенчаться тайно, и если тебе суждено погибнуть в великом подвиге, я не переживу тебя, но умру законною женою Иваницкого, друга Московского государя.

Иваницкий помолчал немного, как бы собираясь с мыслями, и наконец сказал:

– Хорошо, друг мой! Если для твоего спокойствия нужно это, я готов. Послезавтра обвенчаюсь с тобою. У меня за Днепром в одной деревне есть приятель священник. Я предупредю его – желание твое исполнится.

Иваницкий поцеловал Калерию и сказал, что он завтра к ней не будет, ибо должен приготовить все к тайному выезду и бракосочетанию. Любовники расстались.

## Лейтенант Белозор (1831)

АЛЕКСАНДР БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ (1797–1837)

Печально поглядел Виктор на милующихся канареек, быстро пробежал стопами и взорами цветники и ряды редких плодоносных и душистых деревьев; он заметил, как склоняли цветы друг к другу вспрыснутые головки свои, будто желая поделиться освежающею влагою. Пусть кто хочет говорит, что любовь есть безумие, – по-моему, в ней таится искра высокой премудрости. В ней мы испытываем по чувству то, к чему приводит нас впоследствии философия по убеждению. Каким благородным доверием, какою чистою добротою бываем мы тогда переполнены: в каждом человеке находим тогда друга, в милом цветке, в тихом кустарнике – родного; мы считаем людей и верим себя самих лучшими, и точно были бы таковыми, если б это умиление, творящее около нас новый мир и украшающее старый, было прочнее, постояннее. Разница только в том, что философия исторгает человека из общей жизни и, как победителя, возвышает над природою; а любовь, побеждая его частную свободу, сливает его с природою, которую он, одушевляя, возвышает до себя. Сладостны созерцания и мудреца, и любовника, хотя ощущения последнего живее, а понятия первого явственнее. Любовник, кажется, внемет сердцем биению жизни во всем творении, гармонии блага – во всем творимом. Пред умственными взорами другого расцветают мрачные бездны, развивается свиток судьбы миров и народов. Только это двоякое созерцание дает человеку вполне насладиться своим совершенством, то в самозабвении, то в забвении всех зол, его окружающих. В это время он поглощает минувшие, настоящие и будущие наслаждения, слиянные в тихом восторге!

Полон подобными чувствами, если не подобными мыслями, стоял мечтатель Виктор перед кустом тюброз, свидетелем его счастья и горя. Душа его плавала, как индийская пери, в испарениях цветов, забыв досаду и надежду, довольная собственной любовью, одною любовью, – чувство, непонятное многим, но тем не меньше сладкое для немногих. Вдруг, вовсе неожиданно, он был исторгнут из своей задумчивости свежим, звонким поцелуем, и громкий смех, за ним последовавший, заставил его вздрогнуть, хотя вовсе не от испуга; смех этот, в свою очередь, заглушён был звуком поцелуев Викторовых, которыми осыпал он резвую Жанни, ибо это была, конечно, она.

– Полно, полноте, Виктор! – кричала красавица, заслоняя уста ручками, которые отнимала опять, чтобы скрыть от лобзаний. – Я, право, опять рассержусь на вас; я возвратила вам только ваш злой поцелуй: я не хотела принимать подарков от таких дерзких людей.

Виктор остановился.

– Очень хорошо, Жанни; когда дело пошло на расчеты, возвратите мне сполна полученные теперь, и я доволен.

– Да вы несноснее нашего бухгалтера, Виктор! Легко сказать – счетом; а кто бы успел считать их? – возразила Жанни, и между тем щеки ее пылали прелестным румянцем, глаза яснили невинною веселостью. Вся она была так простосердечно игрива, – Виктор растаял.

О прежней ссоре не было и помину. Он тихо обвинил руку около стройного ее стана и не приметно привлек к себе очарованную очаровательницу; но она будто убегала от милых уст, уста ее преследующих, так, что Виктор срывал поцелуи, как розы за розою.

– Мы перечтем снова, – произнес он, и между всяким словом было тире из звуков, которых по сию пору никто не вздумал изобразить каким-нибудь иероглифом.



В проверку счета вкрадывались ошибки, и поверка начиналась снова и снова. Я уверен, что это была первая арифметическая задача, доставившая столько удовольствия ученикам. Итоги не были еще подведены, а уже они дружески говорили ты друг другу. Никто из них не помнил, когда и кем было произнесено это слово.

– Я хотела помучить тебя, Виктор, – говорила Жанни, расправляя розовыми перстиками волосы на голове его, – но, признаться, мне дорого стоило притворство, и я целую ночь упрекала себя. Пришедши сюда полить цветы мои, я долго любовалась тобою, – примолвила она, скрывая горящее лицо на груди счастливец, – и, наконец, не выдержала, чтоб не поцеловать тебя. За что, скажи, я так люблю тебя, причудливый, злой Виктор!

– За что я обожаю тебя, коварная девушка!

– Не сердись вперед, Виктор, – ты так страшен в гневе; мне становится холодно в сердце, когда я о том вспомню.

– Не играй вперед любовью, милая Жанни! Кто так хорошо умеет притворяться равнодушным, тому недалеко до настоящего бесстрастия, – по крайней мере мысль, что ты так же легко можешь лицемерствовать в нежности, как в холодности, меня убивает!

– О нет, друг мой, – отвечала она простодушно, – я уже привыкла быть равнодушною, а люблю впервые.

– И впоследние, Жанни?

– Однажды и навсегда, Виктор!

– Я твой до гроба! Любить тебя, Жанни, буду я и в самой вечности!

В этот раз Жанни уже не думала спрашивать, что значит любить.

И Виктор не пошел бы в карман за словом, если б она о том спросила.

Удивительно, какие быстрые успехи делает в этой науке сердце человеческое в самое короткое время! Один разве животно-магнетический сон, который учит по-латыни и по-гречески в одну засыпку, может поспорить с платонической методою. Вчерашние новички становятся вдруг такими стратегиками в любовной войне, что, пожалуй, научат учителей.

Любовники наши расстались, осыпая друг друга уверениями; они поспешили в свои комнаты, чтобы наедине с собою, каплей по капле вкушать свое блаженство.

## Черная женщина (1834)

НИКОЛАЙ ГРЕЧ (1787–1867)

Князь остался один в совершенной темноте. Он не знал, что делать: оставаться в гробу – опасно, холодно; встать – перепугаешь весь дом, да и будет ли силы добратся до жилых покоев? В это время ударил час, послышался шорох легких шагов, и луч света проник сквозь замочную скважину двери, ведущей в общий коридор. Сердце его забилося надеждою. Отмыкают дверь, она отворяется, и входит в залу женщина – в черном платье, с распущенными по плечам черными волосами, неся в руках свечу. Кемский, увидев свою всегдашнюю мечту, вообразил, что это явление возвещает ему о наступлении смертного часа, но она не останавливается вдали, как обыкновенно, а подходит медленно, озираясь во все стороны, ближе и ближе, ставит свечу на столике у изголовья, а сама обращается к гробу. В эту минуту Кемский узнал Наташу, бледную, с покрасневшими от слез глазами. Она подошла к гробу, бросилась на покойника и прижала горячие губы к его руке. Слезы ее, жаркие слезы текли ручьем. Рыдания занимали дух.

– Теперь могу сказать тебе, – промолвила она едва внятным голосом, – как страстно я тебя любила! Могу тебе поклясться, что никого в мире так любить не буду и не могу!

Слезы пресекли ее голос. Кемский был в изумлении; сердце его забилося восторгом; он готов был прижать Наташу к груди своей, но страшился испугать, убить ее; старался не подать ни малейшего знака жизни, удерживал дыхание, сторожил за каждым биением пульса. Наташа приподнялась, отошла от гроба, села на стул и в молчании вперила томные глаза свои на любезного. Через несколько минут растворилась дверь в залу и вошла другая девица, жившая в доме Алевтины.

– Что вы это делаете, Наталья Васильевна! – спросила она с состраданием. – Вы мучите себя, а мертвого не разбудите. Упаси боже, если Алевтина Михайловна узнает, что вы и прощаться к нему приходили!

– Оставьте, оставьте меня, Авдотья Семеновна, – сказала Наташа слабым голосом, – дайте на него наглядеться. Завтра, через несколько часов, увезут его навсегда.

## Одна и две, или Любовь поэта (1834)

ВЛАДИМИР С ОКОЛОВСКИЙ (1808–1839)

Анны Ивановны не было дома. Лиза сидела одна в гостиной за какою-то работою, только, не знаю почему, эта работа ни на волос не подвигалась вперед... Лизаньке непременно было надобно посматривать за чем-то в окно и беспрестанно оборачиваться к дверям, чуть только кто-нибудь отворял их... Наконец она бросила свое шитье, быстро побежала в залу и встретила своего братца довольно странным и чрезвычайно торопливым выражением:

– Говорите!.. Говорите поскорее!.. Время очень дорого!

Она схватила руку Вольдемара и потащила его в гостиную.

– Скажите же мне о вашем несчастии... Я думала об этом целый вечер и целую ночь и придумала только одно, что вы верно должны быть очень влюблены в кого-нибудь.

– Вы отгадали, сестрица... Я люблю страстно, пламенно, люблю так, как только может любить человек...

– И кто ж та, которая очаровала вас? – спросила Лиза дрожащим голосом и потупляя свои глазки.

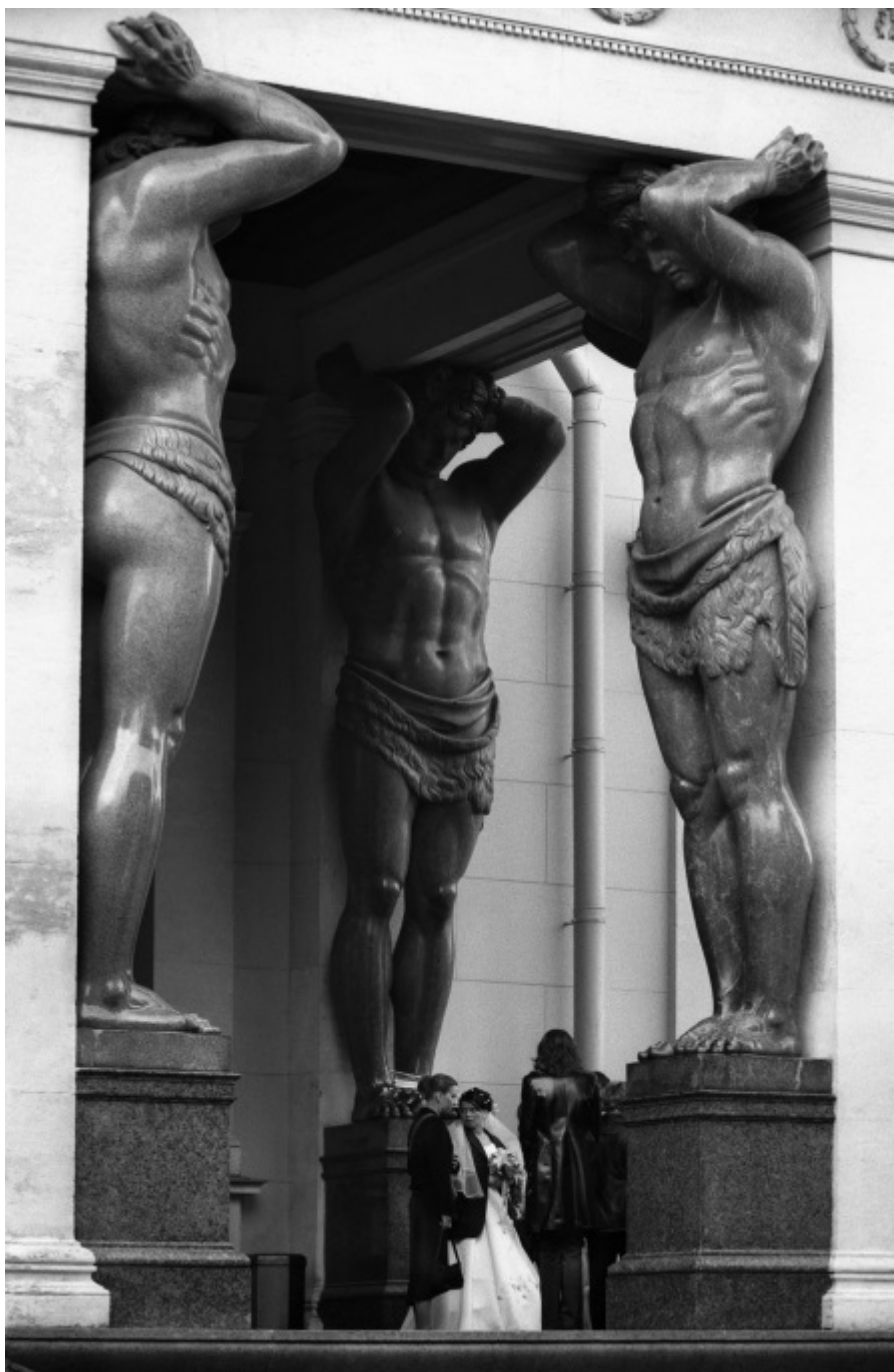
– Кого же мне любить, кроме вас?.. Я живу... я дышу вами.

– Как?.. Неужели вы меня любите?.. И будто только одну меня?

– Одну вас – и больше никого на свете!

– Боже мой!.. Как я рада!.. Как я счастлива!..

Она не могла сказать ничего более: Вольдемар держал ее в своих объятиях; уста их слились; радостные слезы смешались на их щеках, сердца замерли от восторга, и небо было свидетелем их духовного союза.



Раз в целую жизнь – и не более, даются нам подобные мгновения, но зато как они сладостны!.. Тут, несмотря на пыл объятий, нет ничего земного... Тут душа погружается в какое-то небесное самозабвение... Тут нет пола... тут сливаются одни возвышенные чувства и два сердца гармонически отвечают друг другу на каждое биение... Тут в один прием вливаем мы в себя драгоценное питье из какого-то очаровательного сосуда, и уже никогда до гроба никакая невидимая рука не подаст нам снова этого волшебного кубка; но и под холодом седин отрадно, усладительно будет вспоминать былое... Тут последний предел наших восторгов: еще одна лишняя капля – человек уничтожился бы от избытка наслаждения: так много небесного было бы невыносимо для земного.

После первых, дивных *соприкосновений* Лизанька принялась опять за расспросы и наконец узнала это печальное *все*, эту загадку несчастья, которую она так нетерпеливо хотела отгадать.

– Что я сделала твоему дядюшке?.. – сказала она тоскливо. – Бог с ним!.. И ты дал ему слово?

– Дал, милая Лиза!.. Я не знаю сам, как оно сорвалось у меня с языка...

– И ты оставишь меня, мой добрый братец?

– Боже мой!.. Как ужасно мое положение!.. Я не хочу тебя обманывать: кажется, все восстало против бедного твоего друга; но скажи мне, если судьба разлучит меня с тобою на несколько времени, не позабудешь ли ты своего братца, не выйдешь ли ты за кого-нибудь другого?

– Никогда!.. Никогда!.. И пусть этот поцелуй будет залогом моей вечной любви.

– Ах, как много облегчила ты мои страдания!.. Теперь я дышу свободнее, и когда бы не эта разлука...

– Но разве нельзя тебе оставаться здесь?.. Если мы еще очень молоды для супружества, мы можем подождать, сколько будет угодно твоему дядюшке... О! Я согласна дожидаться хоть до самой старости, только вместе с тобою!.. Милый, добрый мой братец! Умоляю тебя моими слезами, не покидай меня здесь: иначе я умру от тоски.

Она зарыдала и бросилась в его объятия... Все закипело в груди Вольдемара.

– Нет! Я не могу тебя оставить! – воскликнул он; еще раз прижал ее к своему сердцу, стремглав выбежал из дому и, вскочивши на первые наемные дрожки, повторял беспрестанно вслух: *Никак не поеду... Никогда не поеду!.. Ни за что не поеду!*

Извозчик оборотился, посмотрел на него с сардонической улыбкой и спросил, пожимая плечами:

– Да куда ж, барин, прикажете вас везти?

– Разумеется, к дядюшке! – закричал Поэт; но немного погодя опомнился и рассказал все толком.

Это наконец убедило ямщика, что его седок не совершенно еще сумасшедший, но что на него находит только часами.

## Тарас Бульба (1835)

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ (1821–1852)

– Царица! – вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. – Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, – я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, – я сделаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко... но не в силах сказать того! У меня три хутора, половина табунов отцовских – мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, – все мое. Такого ни у кого нет теперь у Козаков наших оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и некстати, и нейдет все это сюда, что не мне, проведшему жизнь в бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери-девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе.

С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, было облечено в силу. И выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначением ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они с своим городом... И глаза ее вдруг наполнились слезами; быстро она схватила платок, шитый шелками, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен; и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу, – как бы внезапно почувствовав какое укушение ядовитого гада, – и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти.

– Скажи мне одно слово! – сказал Андрий и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновенья, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его.

Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна.

– Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна?

Бросила прочь она от себя платок, отдернула належавшие на очи длинные волосы косы своей и вся разлилась в жалостных речах, выговаривая их тихим – тихим голосом, подобно когда ветер, поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывно-тонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтанья где-то проезжающей телеги.

– Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля припала на часть мне?

Не лютый ли ты изо всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов и все, что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за вели-

кое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породой, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. За что же ты, пречистая божья мать, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои; лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? к чему оно все было? К тому ли, чтобы наконец умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасенья которых двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидеть и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя – прости мое прегрешение, – святая Божья Мать!

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, – все, казалось, говорило: “Нет счастья на лице сем!”

– Не слыхано на свете, не можно, не быть тому, – говорил Андрий, – чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую участь, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что ни есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе умирать! Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же выйдет уже так и ничем – ни силой, ни молитвой, ни мужеством – нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе; и прежде я умру, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою.

– Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, – говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, – знаю и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы – враги тебе.

– А что мне отец, товарищи и отчизна! – сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осока, стан свой. – Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! – повторил он тем же голосом и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого. – Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из Козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!

На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровождаемые трубным и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком.



## Капитанская дочка (1836)

АЛЕКСАНДР ПУШКИН (1799–1837)

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. “Что? каков?” – произнес шепоту голос, от которого я затрепетал. “Все в одном положении, – отвечал Савельич со вздохом, – все без памяти вот уже пятые сутки”. Я хотел оборотиться, но не мог. “Где я? кто здесь?” – сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. “Что? как вы себя чувствуете?” – сказала она. “Слава богу, – отвечал я слабым голосом. – Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...” Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. “Опомнися! опомнися! – повторял он. – Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!...” Марья Ивановна перервала его речь. “Не говори с ним много, Савельич, – сказала она. – Он еще слаб”. Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. “Милая, добрая Марья Ивановна, – сказал я ей, – будь моею женою, согласись на мое счастье”. Она опомнилась. “Ради бога успокойтесь, – сказала она, отняв у меня свою руку. – Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня”. С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью. <...>

<...> В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... <...> У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагоприятное отношение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец

почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. “Милая Марья Ивановна! – сказал я наконец. – Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить”. Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно – и таким образом все было между нами решено. <...>

<...> Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. “Прощайте, Петр Андреич! – сказала она тихим голосом. – Придется ли нам увидаться, или нет, Бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце”. Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала.

## Дубровский (1833, опубл. 1841)

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

– Я все знаю, – сказал он ей тихим и печальным голосом. – Вспомните ваше обещание.

– Вы предлагаете мне свое покровительство, – отвечала Маша, – но не сердитесь: оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

– Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

– Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите – я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

– Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

– Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

– Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?..

– Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною – я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

– Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастья; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался – Маша плакала...

– Бедная, бедная моя участь, – сказал он, горько вздохнув. – За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами... Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того – но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. «Пора», – сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

– Если решитесь прибегнуть ко мне, – сказал он, – то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

## Герой нашего времени (1838–1840)

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ (1814–1841)

Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. “Мне дурно!” – проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. “Смотрите вверх! – шепнул я ей, – это ничего, только не бойтесь; я с вами”.

Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

– Что вы со мною делаете? Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади; никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова – из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

– Или вы меня презираете, или очень любите! – сказала она наконец голосом, в котором были слезы. – Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить. – Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... о нет! не правда ли, – прибавила она голосом нежной доверенности, – не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. – В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться. Я ничего не отвечал.



– Вы молчите? – продолжала она, – вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Я молчал...

– Хотите ли этого? – продолжала она, быстро обратясь ко мне... В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

– Зачем? – отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда она уж присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку; а у дочери просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необы-

ятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия! <...>

<...>

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать?... Тяжелое предчувствие волновало мою душу. Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

“Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощанием и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя – ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменялась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, – но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, – не говорю уж любить, – нет, только помнить... Прощай; идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете... ”

## Большой свет (1840)

ВЛАДИМИР СОЛЛОГУБ (1813–1882)

Следующую кадрили Леонин танцевал с графиней.

– Графиня, – сказал он, – два года назад, во время маскарада, одна маска показалась мне чрезвычайно жалкою. Она не знала меня и обратилась ко мне как к другу, и раскрыла мне все раны своего сердца.

– Право? – рассеянно сказала графиня, приложив веер к губам.

– Она была точно жалка, – сказал Леонин. – Никто ее не любил, а она жаждала счастья найти душу, которая могла бы ее любить. Под маской были вы, графиня.

– Вы думаете?..

– Я в том уверен. И с тех пор я бросил всю прежнюю жизнь свою; я оставил всех своих знакомых; я отказался от девушки, которая меня любила; я втерся в новый круг, где я терпел все унижения и все досады, я вышел из пределов моего состояния, я прилепился к следам вашим, для вас одной, и я не просил ничего, и когда я был вам нужен, я был всегда под рукой, и когда вы кокетничали с людьми, мне ненавистными, я молчал...

И я думал тронуть вас своим постоянством и своей любовью, я думал, что в награду всех мучений, которые я претерпел для вас, вы бросите мне взгляд сожаления и будете ко мне равнодушны.

– Чего же вы хотите? – спросила графиня.

– Я хочу знать, любите ли вы меня?..

Графиня горделиво подняла голову.

– Вы, кажется, с ума сошли? – сказала она.

В ее голосе было столько презрения, что бедный Леонин, как опьянелый, вышел в другую комнату.

В то же время князь Чудин подошел с другой стороны к графине, перекачиваясь с ноги на ногу.

– Прелестная графиня, – сказал он, – два слова. Вот два года, как в свете говорят, что я в вас влюблен. Что вы думаете: правда ли это?

– Не знаю, – сказала графиня смеясь.

– Оно бы, может, и было правда, – сказал fashionable<sup>1</sup>, – да дело в том, что я никак не умею вздыхать, плакать и падать в обморок. Для меня ремесло собачки, которая должна служить и прыгать для своей хозяйки, – нестерпимо. Я люблю действовать решительно и требую решительных ответов: да или нет. Я никому не дам удовольствия видеть, как я буду сантиментальничать. Это не моя привычка. Угодно вам будет мне отвечать?

– Вы, кажется, с ума сошли! – сказала, рассмеявшись, графиня и протянула ручку свою известному нам генералу, который пожал ее с чувством рыцарской благодарности, а потом уселись они вдвоем на кушетке, в уголку соседней гостиной, и начали разговаривать, не обращая ни на кого внимания.

Генерал был очень счастлив. Он вежливо протянул руку проходящему мимо мужу графини, который почтительно мимо него прошаркнул и уселся с некоторыми лицами за карточный стол.

Заиграли мазурку. Пары уселись вдоль стены. Щетинин танцевал с графиней. Он был в самом светском расположении духа, злословил и смеялся. Вообще нет ничего пошлее мазурочных разговоров, даже если и вмешается в них какое-нибудь сердечное отношение.

---

<sup>1</sup> хорошего тона (англ.).

Во-первых, жара, теснота, необходимость вставать поминутно для фигур, усталость и поздняя ночь в состоянии отнять у самого пламенного любовника все его красноречие. Тогда невольно ищешь самых простых слов и самых простых мыслей; тогда женские уста, отверстые невольно для зевоты, смыкаются лишь из приличия улыбкой.

– Графиня, – говорил Щетинин, – замечаете вы в Петербурге новую странность: молодые девушки совершенно забыты? Видите, сколько сидит их по разным углам с недовольными лицами и без надежды на кавалеров? Барышня уничтожается в нашем образованном обществе и остается единственно на попечении своих двоюродных братьев или друзей дома, то есть несноснейших людей в мире. Вы будете в кипсеке?

– Нет. Да этого кипсека никогда не будет.

– Напротив, он скоро должен выйти в свет с изображениями наших красавиц. Вам первое место следует по праву.

– Благодарю покорно. Моего портрета, однако, не будет. Может быть, я недовольно хороша, я недовольно *bon genre*<sup>2</sup> для подобной чести.

– Графиня, *bon genre* теперь не говорится более, а говорится *genre fracas*<sup>3</sup>: оно новее и выразительнее, не правда ли? Вы были вчера на бале – *fracas*. Вы танцевали мазурку с вашим обожателем – *fracas*! А если вы задумались, если вы вздохнули, если вы хоть слово сказали, – это могло дать подумать, что сердце ваше тронуту, – *fracas*! *fracas*! Все, что от нас идет и к нам обращается, – все *fracas*! А где друг мой и приятель m-r Leonine, ваш постоянный обожатель, ваш безнадежный вздыхатель, господин де Грандисон? Вот уж вовсе не *fracas*.



– Вообразите, – отвечала, смеясь, графиня, – что он не на шутку требовал от меня нынче объяснения; он хотел, чтоб я призналась в любви к нему!.. И теперь он сердится и ходит бледный и сердитый, как тень Гамлета.

---

<sup>2</sup> хорошего тона (франц.).

<sup>3</sup> Здесь: потрясающе (франц.).

– Я очень рад, – продолжал, также смеясь, Щетинин, – я очень рад: авось это отучит вас от страсти собирать около себя целое стадо обожателей – к чему они все вам?

– О! этого я должна была отличать между прочими по обстоятельствам, мне известным. Виновата ли я, что он принял за любовь все, что было лишь приличие? Может быть, я и виновата немного. Да какой женщине, скажите, не хочется нравиться?

– И вы, наверное, знаете, что вы не любите моего рыцаря печального образа?

– О! что до этого, вы можете быть совершенно спокойны. Он не глуп, а все-таки не только не fracas, а просто – mauvais genre<sup>4</sup>, и тон его, сказать вправду, иногда бывает очень дурен. Если б у меня была склонность, я бы умела ее лучше выбирать.

– О, бедный господин де Грандисон! – смеясь, продолжал Щетинин. – О, сентиментальный юноша!

– Я вам должна признаться, – прибавила графиня, – что ваш приятель бывает иногда чрезмерно скучен: молчит и вздыхает, вздыхает и молчит. И потом, два года назад, он был мне нужен, а теперь бог с ним!

Князь Чудин протянул небрежно руку к графине; она улыбнулась и, встав с своего места, порхнула с князем в пирамидную фигуру.

– Князь! – сказал на ухо Щетинину дрожащий голос. Щетинин обернулся. За стулом стоял Леонин с посиневшими губами, и за Леониным стоял Сафьев, с пальцем, задетым за жилет и с вечной улыбкой.

– Князь, – продолжал Леонин, – в романе господина де Грандисона недостает одной главы – поединка. Вы знаете, что романы без поединка теперь не обходятся. Не угодно ли вам будет дополнить этот недостаток?

– Извольте, – отвечал Щетинин, – желаю, чтоб эта глава была из лучших в вашем романе. Кто секундант ваш?

---

<sup>4</sup> дурной тон (франц.).

## Кто виноват? (1845–1846)

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН (1812–1870)

Однажды после обеда, когда Негров в кабинете, а Глафира Львовна в диванной отдыхали, в зале сидела Любонька, и Круциферский читал ей вслух стихотворения Жуковского. До какой степени опасно и вредно для молодого человека читать молодой девице что-нибудь, кроме курса чистой математики, это рассказала на том свете Франческа-да-Римини Данту, вертясь в проклятом вальсе della bufera infernale<sup>5</sup>: она рассказала, как перешла от чтения к поцелую и от поцелуя к трагической развязке. Наши молодые люди этого не знали и уже несколько дней раздували свою любовь Жуковским, которого привез кандидат. Пока они читали “Ивиковы журавли”, все шло хорошо, но, открыв убийцу по этому делу, они перешли к “Алине и Альсиму”, – тогда случилось вот что. Круциферский, прочитав дрожащим голосом первую строфу, отер с лица своего пот и, задыхаясь, осилил еще следующие стихи:

Когда случится жизни в цвете  
Сказать душой  
Ему: ты будь моя на свете, —

остановился и зарыдал в три ручья; книга выпала у него из рук, голова склонилась – и он рыдал, рыдал безумно, рыдал, как только может рыдать человек, в первый раз влюбленный. “Что с вами?” – спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно и слезы навернулись на глазах. “Что с вами?” – повторила она, боясь всей душой ответа. Круциферский схватил ее руку и, одушевленный какой-то новой, неведомой силой, не смея, впрочем, поднять глаз, сказал ей: “Будьте, будьте моей Алиной!., я... я...” Больше он не мог ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою руку; ее щеки пылали, она заплакала и вышла вон. Круциферский не сделал ничего, чтоб остановить ее; вряд ли даже желал он этого. “Боже мой! – думал он, – что я наделал... Но она так тихо, так кротко вынула свою руку...” И он опять плакал, как ребенок. <...>

– Как хорошо здесь... – сказала наконец дама в белом бурнусе. – Сознайтесь, что и северная природа прекрасна?

– Как везде. Где бы ни взглянул человек и когда бы ни взглянул на природу, на жизнь с раскрытой душой, прямо, бескорыстно – они дадут бездну наслаждения.

– Это правда. Всем на свете можно любоваться, если только хочешь. Мне часто приходит в голову странный вопрос: отчего человек умеет всем наслаждаться, во всем находить прекрасное, кроме в людях?

– Понять можно отчего, но от этого не легче будет. Мы вносим в наших отношениях с людьми заднюю мысль, которая тотчас убивает самой дрянной прозой поэтическое отношение. Человек в человеке всегда видит неприятеля, с которым надобно драться, лукавить и спешить определить условия перемирия.

Какое ж тут наслаждение? Мы с этим выросли, и отделаться от этого почти невозможно; в нас во всех есть мещанское самолюбие, которое заставляет оглядываться, осматриваться; с природой человек не соперничает, не боится ее, и оттого нам так легко, так свободно в одиночестве; тут совершенно отдаемся впечатлениям; пригласите с собой самого близкого приятеля, и уже не то.

---

<sup>5</sup> адского вихря (*итал.*).

– Я вообще мало встречаю людей, особенно таких, которые бы мне были близки; но думаю, что есть, что может быть, по крайней мере, такое сочувствие между лицами, что все внешние препятствия непониманья пали между ними, они не могут помешать друг другу ни в каком случае жизни.

– Я сомневаюсь в продолжительной полноте такого сочувствия; это все говорится только. Люди, совершенно сочувствующие, еще не договорились до тех предметов, где они – противоположны; но, рано или поздно, они договорятся.

– Все же, пока они не договорились, могут быть минуты полной симпатии, где они не мешают друг другу наслаждаться и природой и собой.

– В эти-то минуты я только и верю. Это святые минуты душевной расточительности, когда человек не скуп, когда он все отдает и сам удивляется своему богатству и полноте любви. Но эти минуты очень редки; по большей части мы не умеем ни оценить их в настоящем, ни дорожить ими, даже пропускаем их чаще всего сквозь пальцы, убиваем всякой дрянью, и они проходят человека, оставляя после себя болезненное щемление сердца и тупое воспоминание чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человек очень глупо устроил свою жизнь: девять десятых ее проводит в вздоре и мелочах, а последней долей он не умеет пользоваться.

– Зачем же терять такие минуты, когда человек знает им цену? На вас лежит двойная ответственность, – заметила Круциферская, улыбаясь, – вы так ясно видите и понимаете.

– Я не только такими мгновениями, я дорожу каждым наслаждением; но ведь это легко сказать: не теряйте такие мгновения; одна фальшивая нота – и оркестр погиб. Как отдалиться вполне, когда тут же рядом видишь всякие привидения... грозящие пальцем, ругающиеся...

– Какие? Не собственные ли это капризы? – заметила Круциферская.

– Какие? – повторил Бельтов, которого голос мало-помалу изменялся от внутреннего движения. – Трудно мне вам объяснить, а для меня это очень ясно, человек так себя забил, что не смеет дать воли ни одному чувству. Послушайте, так и быть, я скажу вам пример, именно тот, который не следовало бы говорить, – но я его скажу... начавши, я не в силах остановить себя. С первых дней нашего знакомства я полюбил вас, – дружба ли это, любовь ли, просто ли сочувствие?... Но знаю, что вы, ваше присутствие сделались для меня необходимостью. Знаю то, что целые утры я проводил в детском нетерпении, в болезненном ожидании вечера... Приходил наконец вечер, я бежал к вам, задыхаясь от мысли, что я увижу вас; лишенный всего, окруженный со всех сторон холодом, я на вас смотрел как на последнее утешение... поверьте, что на сию минуту я всего далее от фраз... с волнением переступал я порог вашего дома и входил хладнокровно, и говорил о постороннем, и так проходили часы... для чего эта глупая комедия?... Скажу больше: вы не остались равнодушны ко мне; вероятно, иной вечер и вы меня ждали, я видел радость в ваших глазах при моем появлении – и сердце у меня билось в эти минуты до того, что я задыхался, – и вы меня встречали с притворной учтивостью, и вы садились издали, и мы представляли посторонних... зачем?... Разве на дне моей души, на дне вашей души было что-нибудь такое, чего надобно стыдиться, прятать от глаз людей? Нет! – Чего от глаз людей?.., еще смешнее: мы скрывали друг от друга вашу близость; теперь в первый раз говорим мы об этом, да и тут, кажется, вполтину скрываем. Самое светлое чувство делается острым, жгучим, делается темным, – чтоб не сказать другого слова, – если его боятся, если его прячут, оно начнет верить, что оно преступно, и тогда оно делается преступным; в самом деле, наслаждаться чем-нибудь, как вор краденым, с запертыми дверями, прислушиваясь к шороху, – унижает и предмет наслаждения и человека.



– Вы несправедливы, – отвечала Круциферская дрожащим голосом, – я никогда не скрывала моей дружбы к вам, я не имела в этом нужды...

– Так отчего же, скажите, – возразил Бельтов, схватив ее руку и крепко ее сжимая, – отчего же, измученный, с душою, переполненной желанием исповеди, обнаружения, с душою, полной любви к женщине, я не имел силы прийти к ней и взять ее за руку, и смотреть в глаза, и говорить... и говорить... и склонить свою усталую голову на ее грудь... Отчего она не могла меня встретить теми словами, которые я видел на ее устах, но которые никогда их не переходили.

– Оттого, – отвечала Круциферская с какой-то отчаянной энергией, – оттого, что эта женщина принадлежит другому и любит его... да, да! любит его от души.

Бельтов бросил ее руку.

– Представьте себе, что я именно этого ответа и не ждал, а теперь мне кажется, что другого и сделать нельзя. Однако позвольте, разве непременно вы должны отвернуться от одного сочувствия другому, как будто любви у человека дается известная мера?

– Может быть, но я не понимаю любви к двоим. Муж мой, сверх всего другого, одной своей беспредельной любовью стяжал огромные, святые права на мою любовь.

– Зачем вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападает на них. К тому же вы дурно начали их защищать; да, если его любовь дала ему такие права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имеет никаких прав? Это странно!.. Послушайте, Любовь Александровна, откровенность, откровенность раз в жизни, потом, пожалуй, я совсем не буду ничего говорить, даже уеду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить; не понимаете? Сойдите поглубже, в душу вашу и посмотрите, что там делается теперь, сейчас. Ну, имейте же дух признания, что я прав, скажите, по крайней мере, что вы все это перечувствовали, передумали, ведь я это знаю, – я видел эти думы на вашем челе, в ваших глазах.

– Ах, Бельтов, Бельтов, зачем все это, зачем этот разговор? – говорила Круциферская голосом, исполненным мрачной грусти. – Нам было так хорошо... теперь не будет так... вы увидите.

– То есть пока мы не назвали вещей своими именами? Какое ребячество!

Бельтов грустно качал головою и шурил глаза; лицо его, за минуту вдохновенное и выражавшее бесконечную нежность, приняло свою насмешливую мину.

Со слезами, с ужасом смотрела на него испуганная женщина...

Круциферская была поразительно хороша в эту минуту; шляпку она сняла; черные волосы ее, развитые от сырого вечернего воздуха, разбросались, каждая черта лица была оживлена, говорила, и любовь струилась из ее синих глаз; дрожащая рука то жала платок, то покидала его и рвала ленту на шляпке, грудь по временам поднималась высоко, но казалось, воздух не мог проникнуть до легких. Чего хотел этот гордый человек от нее? Он хотел слова, он хотел торжества, как будто это слово было нужно; если б он был юнее сердцем, если б в голове его не обжились так долго мысли горькие и странные, он не спросил бы этого слова.

– Вы ужасный человек, – промолвила наконец бедная Круциферская и подняла робкий взгляд на него.

Он выдержал этот взгляд и спросил:

– Куда это Семен Иванович запропастился? Хотел тотчас прийти. Не ищет ли он нас в других аллеях? Пойдемте к нему навстречу, а то совсем смеркается.

Она не трогалась с места, обиженная тоном последних слов. Помолчавши несколько, она опять подняла взор свой на Бельтова и тихим, умоляющим голосом сказала ему:

– Я стала ниже в ваших глазах, вы забыли, что я простая, слабая женщина, – и слезы лились из глаз ее.

Тут, как всегда, любовь и теплота женщины победили гордую требовательность мужчины, Бельтов, тронутый до глубины души, взял ее руку и приложил к своей груди; она слышала биение его сердца; она слышала, как горячие капли слез падали на ее руку... Он был так хорош, так увлекателен в своей гордой страсти... У ней самой так волновалась кровь, так смутно было в голове и так хорошо, так богато чувствами на сердце, что она в каком-то безотчетном порыве бросилась в его объятия, и ее слезы градом лились на пестрый парижский жилет Владимира Петровича.

## Обыкновенная история (1847)

ИВАН ГОНЧАРОВ (1812–1891)

Александр и Надинька подошли к реке и оперлись на решетку. Надинька долго, в раздумье, смотрела на Неву, на даль, Александр на Надиньку. <...>

– Надинька! – сказал он тихо.

Она молчала.

Александр с замирающим сердцем наклонился к ней. Она почувствовала горячее дыхание на щеке, вздрогнула, обернулась и – не отступила в благородном негодовании, не вскрикнула! <...>

“Неприлично! – скажут строгие маменьки, – одна в саду, без матери, целуется с молодым человеком!” Что делать! неприлично, но она отвечала на поцелуй.

“О, как человек может быть счастлив!” – сказал про себя Александр и опять наклонился к ее губам и пробыл так несколько секунд.

Она стояла бледная, неподвижная, на ресницах блистали слезы, грудь дышала сильно и прерывисто.

– Как сон! – шептал Александр.

Вдруг Надинька встрепенулась, минута забвения прошла.

– Что это такое? вы забылись! – вдруг сказала она и бросилась от него на несколько шагов. – Я маменьке скажу!

Александр упал с облаков.

– Надежда Александровна! не разрушайте моего блаженства упреком, – начал он, – не будьте похожи на...

Она посмотрела на него и вдруг громко, весело засмеялась, опять подошла к нему, опять стала у решетки и доверчиво оперлась рукой и головой ему на плечо.

– Так вы меня очень любите? – спросила она, отирая слезу, выкатившуюся на щеку.

Александр сделал невыразимое движение плечами. На лице его было “преглупое выражение”, сказал бы Петр Иванович, что, может быть, и правда, но зато сколько счастья в этом глупом выражении!

Они по-прежнему молча смотрели и на воду, и на небо, и на даль, будто между ними ничего не было. Только боялись взглянуть друг на друга; наконец взглянули, улыбнулись и тотчас отвернулись опять.

– Ужели есть горе на свете? – сказала Надинька, помолчав.

– Говорят, есть... – задумчиво отвечал Адуев, – да я не верю...

– Какое же горе может быть?

– Дядюшка говорит – бедность.

– Бедность! да разве бедные не чувствуют того же, что мы теперь? вот уж они и не бедны.

– Дядюшка говорит, что им не до того – что надо есть, пить...

– Фи! есть! Дядюшка ваш неправду говорит: можно и без этого быть счастливыми: я не обедала сегодня, а как я счастлива!

Он засмеялся.

– Да, за эту минуту я отдала бы бедным всё, всё! – продолжала Надинька, – пусть придут бедные. Ах! зачем я не могу утешить и обрадовать всех какой-нибудь радостью?

– Ангел! ангел! – восторженно произнес Александр, сжав ее руку.

– Ох, как вы больно жмете! – вдруг перебила Надинька, сморщив брови и отняв руку.

Но он схватил руку опять и начал целовать с жаром.

– Как я буду молиться, – продолжала она, – сегодня, завтра, всегда за этот вечер! как я счастлива! А вы?

Вдруг она задумалась; в глазах мелькнула тревога.

– Знаете ли, – сказала она, – говорят, будто что было однажды, то уж никогда больше не повторится! Стало быть, и эта минута не повторится?

– О нет! – отвечал Александр, – это неправда: повторится! будут лучшие минуты; да, я чувствую!..

Она недоверчиво покачала головой. И ему пришли в голову уроки дяди, и он вдруг остановился.

“Нет, – говорил он сам с собой, – нет, этого быть не может! дядя не знал такого счастья, оттого он так строг и недоверчив к людям. Бедный! мне жаль его холодного, черствого сердца: оно не знало упоения любви, вот отчего это желчное гонение на жизнь. Бог его простит! Если б он видел мое блаженство, и он не наложил бы на него руки, не оскорбил бы нечистым сомнением. Мне жаль его...”

– Нет, Надинька, нет, мы будем счастливы! – продолжал он вслух. – Посмотрите вокруг: не радуется ли всё здесь, глядя на нашу любовь? Сам Бог благословит ее. Как весело пройдем мы жизнь рука об руку! как будем *горды, велики взаимной любовью!*

– Ах, перестаньте, перестаньте загадывать! – перебила она, – не пророчьте: мне что-то страшно делается, когда вы говорите так. Мне и теперь грустно...

– Чего же бояться? Неужели нельзя верить самим себе?



## Обломов (1859)

ИВАН ГОНЧАРОВ

— А я в самом деле пела тогда, как давно не пела, даже, кажется, никогда... Не просите меня петь, я не спою уже больше так... Постойте, еще одно спою... — сказала она, и в ту же минуту лицо ее будто вспыхнуло, глаза загорелись, она опустила на стул, сильно взяла два-три аккорда и запела.

Боже мой, что слышалось в этом пении! Надежды, неясная боязнь гроз, самые грозы, порывы счастья — все звучало, не в песне, а в ее голосе.

Долго пела она, по временам оглядываясь к нему, детски спрашивая: “Довольно? Нет, вот еще это”, — и пела опять.

Щеки и уши рдели у нее от волнения; иногда на свежем лице ее вдруг сверкала игра сердечных молний, вспыхивал луч такой зрелой страсти, как будто она сердцем переживала далекую будущую пору жизни, и вдруг, опять потухал этот мгновенный луч, опять голос звучал свежо и серебристо.

И в Обломове играла такая же жизнь; ему казалось, что он живет и чувствует все это — не час, не два, а целые годы...

Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутренним огнем, дрожали одинаким трепетом; в глазах стояли слезы, вызванные одинаким настроением. Все это симптомы тех страстей, которые должны, по-видимому, заиграть некогда в ее молодой душе, теперь еще подвластной только временным, летучим намекам и вспышкам спящих сил жизни.

Она кончила долгим певучим аккордом, и голос ее пропал в нем. Она вдруг остановилась, положила руки на колени и, сама растроганная, взволнованная, поглядела на Обломова: что он?

У него на лице сияла заря пробужденного, со дна души восставшего счастья; наполненный слезами взгляд устремлен был на нее.

Теперь уж она, как он, также невольно взяла его за руку.

— Что с вами? — спросила она. — Какое у вас лицо! Отчего?

Но она знала, отчего у него такое лицо, и внутренне скромно торжествовала, любуясь этим выражением своей силы.

— Посмотрите в зеркало, — продолжала она, с улыбкой указывая ему его же лицо в зеркале, — глаза блестят, боже мой, слезы в них! Как глубоко вы чувствуете музыку!..

— Нет, я чувствую... не музыку... а... любовь! — тихо сказал Обломов.

Она мгновенно оставила его руку и изменилась в лице. Ее взгляд встретился с его взглядом, устремленным на нее: взгляд этот был неподвижный, почти безумный; им глядел не Обломов, а страсть.

Ольга поняла, что у него слово вырвалось, что он не властен в нем и что оно — истина.  
<...>

“Ну, пора... вот настоящая минута. — Сердце так и стучало у ней. — Не могу, боже мой!”

Он старался заглянуть ей в лицо, узнать, что она; но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она... что ей сказать, что сделать.

“Ах, Сонечка сейчас бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая! ничего не умею... мучительно!” — думала она.

— Я совсем забыла... — сказала она.

— Поверьте мне, это было невольно... я не мог удержаться... — заговорил он, понемногу вооружаясь смелостью. — Если б гром загредел тогда, камень упал бы надо мной, я бы все-

так сказал. Этого никакими силами удержать было нельзя... Ради бога, не подумайте, чтоб я хотел... Я сам через минуту бог знает что дал бы, чтоб воротить неосторожное слово...

Она шла, потупя голову и нюхая цветы.

– Забудьте же это, – продолжал он, – забудьте, тем более что это неправда...

– Неправда? – вдруг повторила она, выпрямилась и выронила цветы.

Глаза ее вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением.

– Как неправда? – повторила она еще.

– Да, ради бога, не сердитесь и забудьте. Уверю вас, это только минутное увлечение... от музыки.

– Только от музыки!..

Она изменилась в лице: пропали два розовые пятнышка, и глаза потускли.

“Вот ничего и нет! Вот он взял назад неосторожное слово, и сердиться не нужно!.. Вот и хорошо... теперь покойно... Можно по-прежнему говорить, шутить...” – думала она и сильно рванула мимоходом ветку с дерева, оторвала губами один листок и потом тотчас же бросила и ветку, и листок на дорожку.

– Вы не сердитесь? Забыли? – говорил Обломов, наклоняясь к ней.

– Да что такое? О чем вы просите? – с волнением, почти с досадой отвечала она, отворачиваясь от него. – Я все забыла... я такая беспамятная!

Он замолчал и не знал, что делать. Он видел только внезапную досаду и не видал причины.

“Боже мой! – думала она. – Вот все пришло в порядок; этой сцены как не бывало, слава богу! Что ж... Ах, боже мой! Что ж это такое? Ах, Сонечка, Сонечка! Какая ты счастливая!”

– Я домой пойду, – вдруг сказала она, ускоряя шаги и поворачивая в другую аллею.

У ней в горле стояли слезы. Она боялась заплакать.

– Не туда, здесь ближе, – заметил Обломов. “Дурак, – сказал он сам себе уныло, – нужно было объясняться! Теперь пуще разобидел. Не надо было напоминать: оно бы так и прошло, само бы забылось. Теперь, нечего делать, надо выпросить прощение”.

“Мне, должно быть, оттого стало досадно, – думала она, – что я не успела сказать ему: мсье Обломов, я никак не ожидала, чтобы вы позволили... Он предупредил меня... “Неправда”! Скажите пожалуйста, он еще лгал! Да как он смел?”

– Точно ли вы забыли? – спросил он тихо.

– Забыла, все забыла! – скоро проговорила она, торопясь идти домой.

– Дайте руку, в знак, что вы не сердитесь.

Она, не глядя на него, подала ему концы пальцев и, едва он коснулся их, тотчас же отдернула руку назад.

– Нет, не сердитесь! – сказал он со вздохом. – Как уверить мне вас, что это было увлечение, что я не позволил бы себе забыться?.. Нет, конечно, не стану больше слушать вашего пения...

– Никак не уверяйте: не надо мне ваших уверений... – с живостью сказала она. – Ян сама не стану петь!

– Хорошо, я замолчу, – сказал он, – только, ради бога, не уходите так, а то у меня на душе останется такой камень.



Она пошла тише и стала напряженно прислушиваться к его словам.

– Если правда, что вы заплакали бы, не услышав, как я ахнул от вашего пения, то теперь, если вы так уйдете, не улыбнетесь, не подадите руки дружески, я... пожалейте, Ольга Сергеевна! Я буду нездоров, у меня колени дрожат, я насилу стою...

– Отчего? – вдруг спросила она, взглянув на него.

– И сам не знаю, – сказал он, – стыд у меня прошел теперь: мне не стыдно от моего слова... мне кажется, в нем...

Опять у него мурашки поползли по сердцу; опять что-то лишнее оказалось там; опять ее ласковый и любопытный взгляд стал жечь его. Она так грациозно оборотилась к нему, с таким беспокойством ждала ответа.

– Что в нем? – нетерпеливо спросила она.

– Нет, боюсь сказать: вы опять рассердитесь.

– Говорите! – сказала она повелительно.

Он молчал.

– Мне опять плакать хочется, глядя на вас... Видите, у меня нет самолюбия, я не стыжусь сердца...

– Отчего же плакать? – спросила она, и на щеках появились два розовые пятна.

– Мне все слышится ваш голос... я опять чувствую...

– Что? – сказала она, и слезы отхлынули от груди; она ждала напряженно.

Они подошли к крыльцу.

– Чувствую... – торопился досказать Обломов и остановился.

Она медленно, как будто с трудом, всходила по ступеням.

– Ту же музыку... то же... волнение... то же... чув... простите, простите – ей-богу, не могу сладить с собой...

– М-г Обломов... – строго начала она, потом вдруг лицо ее озарилось лучом улыбки, – я не сержусь, прощаю, – прибавила она мягко, – только вперед...

Она, не оборачиваясь, протянула ему назад руку; он схватил ее, поцеловал в ладонь; она тихо сжала его губы и мгновенно порхнула в стеклянную дверь, а он остался как вкопанный.

<...>

– Что со мной? – в раздумье спросил будто себя Обломов.

– Сказать что?

– Скажите.

– Вы... влюблены.

– Да, конечно, – подтвердил он, отрывая ее руку от канвы, и не поцеловал, а только крепко прижал ее пальцы к губам и располагал, кажется, держать так долго.

Она пробовала тихонько отнять, но он крепко держал.

– Ну, пустите, довольно, – сказала она.

– А вы? – спросил он. – Вы... не влюблены...

– Влюблена, нет... я не люблю этого: я вас люблю! – сказала она и поглядела на него долго, как будто проверяла и себя, точно ли она любит.

– Лю... блю! – произнес Обломов. – Но ведь любить можно мать, отца, няньку, даже собачонку: все это покрывается общим, собирательным понятием “люблю”, как старым...

– Халатом? – сказала она засмеявшись. – А *propos*<sup>6</sup>, где ваш халат?

– Какой халат? У меня никакого не было.

Она посмотрела на него с улыбкой упрека.

– Вот вы о старом халате! – сказал он. – Я жду, душа замерла у меня от нетерпения слышать, как из сердца у вас порывается чувство, каким именем назовете вы эти порывы, а вы... бог с вами, Ольга! Да, я влюблен в вас и говорю, что без этого нет и прямой любви: ни в отца, ни в мать, ни в няньку не влюбляются, а любят их...

– Не знаю, – говорила она задумчиво, как будто вникая в себя и стараясь уловить, что в ней происходит. – Не знаю, влюблена ли я в вас; если нет, то, может быть, не наступила еще минута; знаю только одно, что я так не любила ни отца, ни мать, ни няньку...

– Какая же разница? Чувствуете ли вы что-нибудь особенное!... – добивался он.

– А вам хочется знать? – спросила она лукаво.

– Да, да, да! Неужели у вас нет потребности высказаться?

– А зачем вам хочется знать?

– Чтоб поминутно жить этим: сегодня, всю ночь, завтра – до нового свидания... Я только тем и живу.

– Вот видите, вам нужно обновлять каждый день запас вашей нежности! Вот где разница между влюбленным и любящим. Я...

– Вы?... – нетерпеливо ждал он.

– Я люблю иначе, – сказала она, опрокидываясь спиной на скамью и блуждая глазами в несущихся облаках. – Мне без вас скучно; расставаться с вами ненадолго – жаль, надолго – больно. Я однажды навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите, – и счастлива, хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею.

“Это слова... как будто Корделии!” – подумал Обломов, глядя на Ольгу страстно...

– Умрете... вы, – с запинкой продолжала она, – я буду носить вечный траур по вас и никогда более не улыбнусь в жизни. Полюбите другую – роптать, проклинать не стану, а про себя пожелаю вам счастья... Для меня любовь эта – все равно что... жизнь, а жизнь...

Она искала выражения.

– Что ж жизнь, по-вашему? – спросил Обломов.

– Жизнь – долг, обязанность, следовательно любовь – тоже долг: мне как будто Бог послал ее, – досказала она, подняв глаза к небу, – и велел любить.

– Корделия! – вслух произнес Обломов. – И ей двадцать один год! Так вот что любовь, по-вашему! – прибавил он в раздумье.

---

<sup>6</sup> Кстати (франц.).

– Да, и у меня, кажется, достанет сил прожить и пролюбить всю жизнь...

“Кто ж внушил ей это! – думал Обломов, глядя на нее чуть не с благоговением. – Не путем же опыта, истязаний, огня и дыма дошла она до этого ясного и простого понимания жизни и любви”.

– А есть радости живые, есть страсти? – заговорил он.

– Не знаю, – сказала она, – я не испытала и не понимаю, что это такое.

– О, как я понимаю теперь!

– Может быть, и я со временем испытаю, может быть, и у меня будут те же порывы, как у вас, так же буду глядеть при встрече на вас и не верить, точно ли вы передо мной... А это, должно быть, очень смешно! – весело прибавила она. – Какие вы глаза иногда делаете: я думаю, та tante замечает.

– В чем же счастье у вас в любви, – спросил он, – если у вас нет тех живых радостей, какие испытываю я?..

– В чем? А вот в чем! – говорила она, указывая на него, на себя, на окружавшее их уединение. – Разве это не счастье, разве я жила когда-нибудь так? Прежде я не просидела бы здесь и четверти часа одна, без книги, без музыки, между этими деревьями. Говорить с мужчиной, кроме Андрея Иваныча, мне было скучно, не о чем: я все думала, как бы остаться одной... А теперь... и молчать вдвоем весело!

Она повела глазами вокруг, по деревьям, по траве, потом остановила их на нем, улыбнулась и подала ему руку.

– Разве мне не будет больно уж, когда вы будете уходить? – прибавила она. – Разве я не стану торопиться поскорей лечь спать, чтоб заснуть и не видеть скучной ночи? Разве завтра не пошлю к вам утром. Разве...

С каждым “разве” лицо Обломова все расцветало, взгляд наполнялся лучами.

– Да, да, – повторил он, – я тоже жду утра, и мне скучна ночь, и я завтра пошлю к вам не за делом, а чтоб только произнести лишний раз и услышать, как раздастся ваше имя, узнать от людей какую-нибудь подробность о вас, позавидовать, что они уж вас видели... Мы думаем, ждем, живем и надеемся одинаково. Простите, Ольга, мои сомнения: я убеждаюсь, что вы любите меня, как не любили ни отца, ни тетку, ни...

– Ни собачонку, – сказала она и засмеялась.

– Верьте же мне, – заключила она, – как я вам верю, и не сомневайтесь, не тревожьте пустыми сомнениями этого счастья, а то оно улетит. Что я раз назвала своим, того уже не отдам назад, разве отнимут. Я это знаю, нужды нет, что я молода, но... Знаете ли, – сказала она с уверенностью в голосе, – в месяц, с тех пор, как знаю вас, я много передумала и испытала, как будто прочла большую книгу, так, про себя, понемногу... Не сомневайтесь же...

– Не могу не сомневаться, – перебил он, – не требуйте этого. Теперь, при вас, я уверен во всем: ваш взгляд, голос, все говорит. Вы смотрите на меня, как будто говорите: мне слов не надо, я умею читать ваши взгляды. Но когда вас нет, начинается такая мучительная игра в сомнения, в вопросы, и мне опять надо бежать к вам, опять взглянуть на вас, без этого я не верю. Что это?

– А я верю вам: отчего же? – спросила она.

– Еще бы вы не верили! Перед вами сумасшедший, зараженный страстью! В глазах моих вы видите, я думаю, себя, как в зеркале. Притом вам двадцать лет; посмотрите на себя: может ли мужчина, встретя вас, не заплатить вам дань удивления... хотя взглядом? А знать вас, слушать, глядеть на вас подолгу, любить – о, да тут с ума сойдешь! А вы так ровны, покойны; и если пройдут сутки, двое и я не услышу от вас “люблю...”, здесь начинается тревога...

Он указал на сердце.

– Люблю, люблю, люблю – вот вам на трое суток запаса! – сказала она, вставая со скамьи.

– Вы все шутите, а мне-то каково! – вздохнув, заметил он, спускаясь с нею с горы.

Так разыгрывался между ними все тот же мотив в разнообразных варьациях. Свидания, разговоры – все это была одна песнь, одни звуки, один свет, который горел ярко, и только преломлялись и дробились лучи его на розовые, на зеленые, на палевые и трепетали в окружающей их атмосфере. Каждый день и час приносил новые звуки и лучи, но свет горел один, мотив звучал все тот же.

И он, и она прислушивались к этим звукам, уловляли их и спешили выпевать, что каждый слышит, друг перед другом, не подозревая, что завтра зазвучат другие звуки, явятся иные лучи, и забывая на другой день, что вчера было пение другое. <...>

<...>

Они молчали несколько минут. Он, очевидно, собирался с мыслями. Ольга боязливо вглядывалась в его похудевшее лицо, в нахмуренные брови, в сжатые губы с выражением решительности.

“Немезида!..” – думала она, внутренне вздрагивая. Оба как будто готовились к поединку.

– Вы, конечно, угадываете, Ольга Сергеевна, о чем я хочу говорить? – сказал он, глядя на нее вопросительно.

Он сидел в простенке, который скрывал его лицо, тогда как свет от окна прямо падал на нее, и он мог читать, что было у ней на уме.

– Как я могу знать? – отвечала она тихо.

Перед этим опасным противником у ней уж не было ни той силы воли и характера, ни проницательности, ни умения владеть собой, с какими она постоянно являлась Обломову.

Она понимала, что если она до сих пор могла укрываться от зоркого взгляда Штольца и вести удачно войну, то этим обязана была вовсе не своей силе, как в борьбе с Обломовым, а только упорному молчанию Штольца, его скрытому поведению. Но в открытом поле перевес был не на ее стороне, и потому вопросом: “как я могу знать?” – она хотела только выиграть вершок пространства и минуту времени, чтоб неприятель яснее обнаружил свой замысел.

– Не знаете? – сказал он простодушно. – Хорошо, я скажу...

– Ах, нет! – вдруг вырвалось у ней.

Она схватила его за руку и глядела на него, как будто моля о пощаде.

– Вот видите, я угадал, что вы знаете! – сказал он. – Отчего же “нет”? – прибавил потом с грустью.

Она молчала.

– Если вы предвидели, что я когда-нибудь выскажусь, то знали, конечно, что и отвечать мне? – спросил он.

– Предвидела и мучилась! – сказала она, откидываясь на спинку кресел и отворачиваясь от света, призывая мысленно скорее сумерки себе на помощь, чтоб он не читал борьбы смущения и тоски у ней на лице.

– Мучились! Это страшное слово, – почти шепотом произнес он, – это Дантово: “Оставь надежду навсегда”. Мне больше и говорить нечего: тут все! Но благодарю и за то, – прибавил он с глубоким вздохом, – я вышел из хаоса, из тьмы и знаю, по крайней мере, что мне делать. Одно спасенье – бежать скорей!

Он встал.

– Нет, ради бога, нет! – бросившись к нему, схватив его опять за руку, с испугом и мольбой заговорила она. – Пожалейте меня: что со мной будет?

Он сел, и она тоже.

– Но я вас люблю, Ольга Сергеевна! – сказал он почти сурово. – Вы видели, что в эти полгода делалось со мной! Чего же вам хочется: полного торжества? чтоб я зачах или рехнулся? Покорно благодарю!



Она изменилась в лице.

– Уезжайте! – сказала она с достоинством подавленной обиды и вместе глубокой печали, которой не в силах была скрыть.

– Простите, виноват! – извинялся он. – Вот мы, не видя ничего, уж и поссорились. Я знаю, что вы не можете хотеть этого, но вы не можете и стать в мое положение, и оттого вам странно мое движение – бежать. Человек иногда бессознательно делается эгоистом.

Она переменила положение в кресле, как будто ей неловко было сидеть, но ничего не сказала.

– Ну, пусть бы я остался: что из этого? – продолжал он. – Вы, конечно, предложите мне дружбу; но ведь она и без того моя. Я уеду, и через год, через два она все будет моя. Дружба – вещь хорошая, Ольга Сергеевна, когда она – любовь между молодыми мужчиной и женщиной или воспоминание о любви между стариками. Но боже сохрани, если она с одной стороны дружба, с другой – любовь. Я знаю, что вам со мной не скучно; но мне-то с вами каково?

– Да, если так, уезжайте, бог с вами! – чуть слышно прошептала она.

– Остаться! – размышлял он вслух. – Ходить по лезвию ножа – хороша дружба!

– А мне разве легче? – неожиданно возразила она.

– Вам отчего? – спросил он с жадностью. – Вы... вы не любите...

– Не знаю, клянусь богом, не знаю! Но если вы... если изменится как-нибудь моя настоящая жизнь, что со мной будет? – уныло, почти про себя прибавила она.

– Как я должен понимать это? Вразумите меня, ради бога! – придвигая кресло к ней, сказал он, озадаченный ее словами и глубоким, непритворным тоном, каким они были сказаны.

Он старался разглядеть ее черты. Она молчала. У ней горело в груди желание успокоить его, воротить слово “мучилась” или растолковать его иначе, нежели как он понял; но как растолковать – она не знала сама, только смутно чувствовала, что оба они под гнетом рокового недоумения, в фальшивом положении, что обоим тяжело от этого и что он только мог или она, с его помощью, могла привести в ясность и в порядок и прошедшее и настоящее. Но для этого нужно перейти бездну, открыть ему, что с ней было: как она хотела и как боялась – его суда!

– Я сама ничего не понимаю; я больше в хаосе, во тьме, нежели вы! – сказала она.

– Послушайте, верите ли вы мне? – спросил он, взяв ее за руку.

– Безгранично, как матери, – вы это знаете, – отвечала она слабо.

– Расскажите же мне, что было с вами с тех пор, как мы не видались. Вы непроницаемы теперь для меня, а прежде я читал на лице ваши мысли: кажется, это одно средство для нас понять друг друга. Согласны вы?

– Ах да, это необходимо... надо кончить чем-нибудь... – проговорила она с тоской от неизбежного признания. “Немезида! Немезида!” – думала она, клоня голову к груди.

Она потупилась и молчала. А ему в душу пахнуло ужасом от этих простых слов и еще более от ее молчания.

“Она терзается! Боже! Что с ней было?” – с холодеющим лбом думал он и чувствовал, что у него дрожат руки и ноги. Ему вообразилось что-то очень страшное. Она все молчит и, видимо, борется с собой.

– Итак... Ольга Сергеевна... – торопил он. Она молчала, только опять сделала какое-то нервное движение, которого нельзя было разглядеть в темноте, лишь слышно было, как шаркнуло ее шелковое платье.

– Я собираюсь с духом, – сказала она наконец. – Как трудно, если бы вы знали! – прибавила потом, отворачиваясь в сторону, стараясь одолеть борьбу.

Ей хотелось, чтоб Штольц узнал все не из ее уст, а каким-нибудь чудом. К счастью, стало темнее, и ее лицо было уж в тени: мог только изменять голос, и слова не сходили у ней с языка, как будто она затруднялась, с какой ноты начать.

“Боже мой! Как я должна быть виновата, если мне так стыдно, больно!” – мучилась она внутренне.

А давно ли она с такой уверенностью ворочала своей и чужой судьбой, была так умна, сильна! И вот настал ее черед дрожать, как девочке! Стыд за прошлое, пытка самолюбия за настоящее, фальшивое положение терзали ее... Невыносимо!

– Я вам помогу... вы... любили?... – насилу выговорил Штольц – так стало больно ему от собственного слова.

Она подтвердила молчанием. А на него опять пахнуло ужасом.

– Кого же? Это не секрет? – спросил он, стараясь выговаривать твердо, но сам чувствовал, что у него дрожат губы.

А ей было еще мучительнее. Ей хотелось бы сказать другое имя, выдумать другую историю. Она с минуту колебалась, но делать было нечего: как человек, который в минуту крайней опасности кидается с крутого берега или бросается в пламя, она вдруг выговорила: “Обломова!”

Он остолбенел. Минуты две длилось молчание.

– Обломова! – повторил он в изумлении. – Это неправда! – прибавил он положительно, понизив голос.

– Правда! – покойно сказала она.

– Обломова! – повторил он вновь. – Не может быть! – прибавил опять утвердительно. – Тут есть что-то: вы не поняли себя, Обломова или, наконец, любви.

Она молчала.

– Это не любовь, это что-нибудь другое, говорю я! – настойчиво твердил он.

– Да, я кокетничала с ним, водила за нос, сделала несчастным... потом, по вашему мнению, принимаюсь за вас! – произнесла она сдержанным голосом, и в голосе ее опять закипели слезы обиды.

– Милая Ольга Сергеевна! Не сердитесь, не говорите так: это не ваш тон. Вы знаете, что я не думаю ничего этого. Но в мою голову не входит, я не понимаю, как Обломов...

– Он стоит, однакож, вашей дружбы; вы не знаете, как оценить его: отчего ж он не стоит любви? – защищала она.

– Я знаю, что любовь менее взыскательна, нежели дружба, – сказал он, – она даже часто слепа, любят не за заслуги – все так. Но для любви нужно что-то такое, иногда пустяки, чего ни определить, ни назвать нельзя и чего нет в моем несравненном, но неповоротливом Илье. Вот почему я удивляюсь. Послушайте, – продолжал он с живостью, – мы никогда не дойдем так до конца, не поймем друг друга. Не стыдитесь подробностей, не пощадите себя на полчаса, расскажите мне все, а я скажу вам, что это такое было, и даже, может быть, что будет... Мне все кажется, что тут... не то... Ах, если б это была правда! – прибавил он с одушевлением. – Если б Обломова, а не другого! Обломова! Ведь это значит, что вы принадлежите не прошлому, не любви, что вы свободны... Расскажите, расскажите скорей! – покойным, почти веселым голосом заключил он.



– Да, ради бога! – доверчиво ответила она, обрадованная, что часть цепей с нее снята. – Одна я с ума схожу. Если б вы знали, как я жалка! Я не знаю, виновата ли я или нет, стыдиться ли мне прошедшего, жалеть ли о нем, надеяться ли на будущее или отчаиваться... Вы говорили о своих мучениях, а моих не подозревали. Выслушайте же до конца, но только не умом: я боюсь вашего ума; сердцем лучше: может быть, оно рассудит, что у меня нет матери, что я была как в лесу... – тихо, упавшим голосом прибавила она. – Нет, – торопливо поправила потом, – не щадите меня. Если это была любовь, то... уезжайте. – Она остановилась на минуту. – И приезжайте после, когда заговорит опять одна дружба. Если же это была ветреность, кокетство, то казните, бегите дальше и забудьте меня. Слушайте.

Он в ответ крепко пожал ей обе руки.

Началась исповедь Ольги, длинная, подробная. Она отчетливо, слово за словом, перекладывала из своего ума в чужой все, что ее так долго грызло, чего она краснела, чем прежде умилялась, была счастлива, а потом вдруг упала в омут горя и сомнений.

Она рассказала о прогулках, о парке, о своих надеждах, о просветлении и падении Обломова, о ветке сирени, даже о поцелуе. Только прошла молчанием душный вечер в саду – вероятно, потому, что все еще не решила, что за припадок с ней случился тогда.

Сначала слышался только ее смущенный шепот, но по мере того как она говорила, голос ее становился явственнее и свободнее; от шепота он перешел в полутон, потом возвысился до полных грудных нот. Кончила она покойно, как будто пересказывала чужую историю.

Перед ней самой снималась завеса, развивалось прошлое, в которое до этой минуты она боялась заглянуть пристально. На многом у ней открывались глаза, и она смело бы взглянула на своего собеседника, если б не было темно.

Она кончила и ждала приговора. Но ответом была могильная тишина.

Что он? Не слышать ни слова, ни движения, даже дыхания, как будто никого не было с нею.

Эта немота опять бросила в нее сомнение. Молчание длилось. Что значит это молчание? Какой приговор готовится ей от самого пронизательного, снисходительного судьи в целом мире? Все прочее безжалостно осудит ее, только один он мог быть ее адвокатом, если бы избрала она... он бы все понял, взвесил и лучше ее самой решил в ее пользу! А он молчит: ужель дело ее потеряно?..

Ей стало опять страшно...

Отворились двери, и две свечи, внесенные горничной, озарили светом их угол.

Она бросила на него робкий, но жадный, вопросительный взгляд. Он сложил руки крестом и смотрит на нее такими кроткими, открытыми глазами, наслаждается ее смущением.

У ней сердце отошло, отогрелось. Она успокоительно вздохнула и чуть не заплакала. К ней мгновенно воротилось снисхождение к себе, доверенность к нему. Она была счастлива, как дитя, которое простили, успокоили и обласкали.

– Все? – спросил он тихо.

– Все! – сказала она.

– А письмо его?

Она вынула из портфеля письмо и подала ему. Он подошел к свечке, прочел и положил на стол. А глаза опять обратились на нее с тем же выражением, какого она уж давно не видала в нем.

Перед ней стоял прежний, уверенный в себе, немного насмешливый и безгранично добрый, балующий ее друг. В лице у него ни тени страдания, ни сомнения. Он взял ее за руки, поцеловал ту и другую, потом глубоко задумался. Она притихла, в свою очередь, и, не смигнув, наблюдала движение его мысли на лице.

Вдруг он встал.

– Боже мой, если б я знал, что дело идет об Обломове, мучился ли бы я так! – сказал он, глядя на нее так ласково, с такою доверчивостью, как будто у ней не было этого ужасного прошедшего. На сердце у ней так повеселело, стало празднично. Ей было легко. Ей стало ясно, что она стыдилась его одного, а он не казнит ее, не бежит! Что ей за дело до суда целого света!

Он уж владел опять собой, был весел; но ей мало было этого. Она видела, что она оправдана; но ей, как подсудимой, хотелось знать приговор. А он взял шляпу.

– Куда вы? – спросила она.

– Вы взволнованы, отдохните! – сказал он. – Завтра поговорим...

## Подобно камбалам Мария Головановская

В “Обломове” история жизненная: полюбила оболтуса, а вышла замуж за деловара. Но русская классика о таком благополучии все чаще помалкивает. В прошедшем, да и сегоднешнем, всякие “бездуховки” бодро выскакивают за деньги, но наши классические романы не о духлесс: Настасья Филипповна Рогожина презирает, деньги его швыряет в топку, а иначе – меркантилизм и полная потеря главной нашей невинности – русской души. Штольц, конечно, не Рогожин, он из чистых, отмытых, он Данте цитирует, Рогожину куда до Данте? Но у Рогожина к Настасье настоящая русская любовь со всем ее пылающим адом, а у Штольца, хорошего парня с хваткой, к Ильинской – оферта, при всей искренности его чувств и намерений. И пропасть тут – необъятная. Мы ведь как считаем? Либо – либо. Жизнь и чувства в русском мире ортогональны: жизнь умирает в чувствах, а чувства в жизни.

А вот печеночник Обломов (“бледен, желт, глаза тусклые”), так отчаянно боящийся вопресть или ячменчика на глазу, прозванный напрасно образцовым русским типом (разве русские не влюблены в риск? в быструю езду, в русскую рулетку во всех ее формах и проявлениях, в пресловутое “авось пронесет?”) с прогрессисткой Ольгой, тоже не блещущей здоровьем (розовые пятна на щеках, дурнота, трепыхания, головокружения, жжения в груди – сейчас бы, наверное, поставили вегетативное расстройство), исполнили классику русской любви – безнадежной, мучительной и никуда не ведущей. С аппетитом выедавая друг другу душу на доброй сотне страниц то от вспыхнувшей, то от угасающей страсти (роковую роль тут играет обычно обломовское переедание за ужином с последующим лежанием на спине – от этого, как известно, сильное происходит застаивание желчи), они чувствуют и действуют как по нотам, в которых для Штольца не симфония чувств, не реквием, не знаменное пение, а повод для смешка. Ольга лю-би-ла Обломова? Ха-ха-ха! Да вы сами послушайте, Ольга, какую галиматью он пишет вам в письмах! Зачитывает. Ольга слушает. И вправду галиматья. Осознание симптома есть снятие симптома. Любовь проходит. Приходит брак.

Что же в рассказе Ольги о ее великой любви с Обломовым так устроило ищущего семейных уз Штольца? Что позабавило его так? А вот что.

Во-первых, Обломов чувствовал то ли музыку, то ли любовь.

Так он выразился после очередного вокального номера Ольги. Музыкой навеяло, вот и выразился. Выразившись, как и положено, он засомневался и, главное, устыдился. Это во-вторых. И то и другое крайне важно для русской любви. То есть он сначала впал, а потом как будто выпал. И то и другое не по своей воле. Конечно, всякий вокал – неприкрытая провокация, шаманизм, а Casta Diva, примененная Ольгой в минуту здоровья, вообще термояд; от песен, как теперь выражаются, крышу сносит, в этом их, песен, подвластная женщинам магия, но факт остается фактом: музыка рождает чувства иногда священные, а иногда и обесценные, ее вина, ее сила. Но совсем не обязательно придавать этому наваждению судьбоносность. Ну нашло – пройдет. Конфуцию приписывают высказывание: мол, любовь – это не что иное, как болезнь мозга, и такой приговорчик выносят половодью чувств и на Востоке, и на Кавказе, и еще много где: лечиться надо, а не жениться, любовь не повод для знакомства. В наших лесах, однако, любовь принято почитать, соединять внезапный ее приход с проявлением воли – пальца Судьбы. Почему русский влюбленный начнет вешать на нее всех собак, валить на нее все грехи свои? (“Значит судьба не захотела этого, Бог не дал” – пишет Обломов Ольге, поев в очередной раз жирного и, очевидно, схватившись за бок.)

Европеец тут на судьбу валить, конечно, не стал бы. У него ведь в анамнезе Амур, пуляющий стрелами, несерьезный пацанчик, play, так сказать, boy. А кто серьезно относится к детским забавам? Понятно, что последствия у его забав могут быть самые серьезные, стрелато летит в сердце, а попадает прямо в мозг, Ромео безвременно почил, Джульетта отравилась, но им в противопоставление идут, как говорят в русском общепите, и Казанова с Дон Жуаном, и Кармен, которые все-таки пооблупили позолоту с идеи великого предназначения великой любви. У нас же, славян, в этом месте пожестче: судьба – это приговор высшего суда, три сестрички – Судженицы (до боли знакомая компания) в славянском мифе совещаются у младенческой колыбели, пока дитя дремлет. Одна говорит, в приступе “великодушия”: пускай умрет, другая, средненькая, компромисс предлагает: пускай живет бедолага бездетным калеккой (видимо, по Обломову, средненькая верх взяла), а третья, младшая, нет, говорит, девки, совсем вы у меня не от мира сего, пускай живет, здоров будет – женится и детей нарожает (Штольцу, видать, вышло это). Вот он – этот суд, на котором раздают судьбу.

И его решение про женитьбу каждому написано на роду.

Не то чтобы эти мифологические реконструкции были известны каждому влюбленному, но подсознательно он ощущал и представлял себе всю эту историю именно так: суждено – не суждено.

У европейца в подкорке совсем другое: с одной стороны, Амур, а с другой – Фортуна, девушка совсем не про любовь, а про везение, деньги, достаток, поэтому словом этим и по сей день называются большие состояния и журналы, пишущие про них.

Роль старика Платона в стыде героя-Обломова (“Чувство неловкости, стыда, или “срама”, как он выражался, который он наделал, мешало ему разобраться, что это за порыв был; и вообще, что такое для него Ольга?”) и всех прочих русских книжных влюбленных трудно преувеличить – он этот стыд придумал (не имея этого в виду), напополам с Библией, где после запретной смоковницы Адам и Ева заглянули ниже пупка своего и устыдились. Собственно, на этом соавторство и заканчивается: Платон устами Аристофана в своем знаменитом “Пире” разъяснил нам, почему любовь – иррациональна и представляет собой невыносимое страдание, почему объясняющиеся в любви все время извиняются (“– Простите меня, княжна! – говорит лермонтовский Печорин княжне Мэри: – Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей!”), или вот у Толстого в “Войне и мире” князь Андрей – Наташе: “– Простите меня, – сказал князь Андрей, – но вы так молоды, а я *уже* так много испытал жизни. Мне страшно за вас. Вы не знаете себя”), откуда взялось пресловутое ощущение и фраза “я без тебя жить не могу”, после которой все-таки топятся единицы (Карамзин. “Бедная Лиза”, Лиза – Эрасту: “Теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен”), а также то, почему любовь в идеале должна вести к обретению второй половины (мужа, жены).

Вот его рассказ (напомним): давным-давно на земле жили помимо совершенно заурядных мужчин и женщин особенные существа (название опустим), сочетавшие в себе оба пола. И было у них четыре руки, четыре ноги, два лица и так далее по прейскуранту. “Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов... они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов”. Так написано в “Пире”. Боги, конечно, побоялись путча или революции, устроили мозговой штурм, как бы извести этот народец и не ударить в грязь лицом, и Зевс предложил порвать их напополам, так сказать, ополовинить. “Каждый из нас половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину”, – уточняет Платон устами Аристофана. Камбалоподобность и родила любовь: “Каждая половина с вожде-

нием устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая расстаться, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь”.

“Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней”, – заключает Платон. И свойственна – добавим мы от себя – только порванным гигантам, а не заурядным бонвиванам, таким как Штольц и отчасти Ольга.

Вот и ответы на многие “почему”. Умопомрачительный сценарий страсти, трагедия безответной любви и прочее, о чем книги и зачастую жизнь. Платон.

Но разве герои русской классики зачитывались Платоном?

И почему Восток как-то обошел всю эту драматургию стороной?

Не только в Европе, но и в России Платона читали и почитали. Причем задолго до того, как родились русские писатели как таковые. Весь европейский, да и наш идеализм в большой своей части именно платоновского замеса. На страницы русских книг, а оттуда и в головы платоновский идеализм, по дороге растеряв детали и обстоятельства, пришел, конечно, из русской интеллектуальной среды, включая духовенство, а также из европейских романов. Интеллектуальные среды, возросшие на православии, изрядно подчистили платонизм: русская любовь бестелесна (отчего еще эротичнее западной), по-русски про интимности без мата и не расскажешь, все иррациональное, психическое, идущее от огромной дерзкой и самобытной концепции русской души увеличилось во сто крат, усилились и трагизм, и безысходность, идущие уже от специфики славянского мифа и представлений о судьбе.

Но Платон как таковой был зерном, посаженным в почву, и главные побеги, ствол русского любовного чувства, при всех иных прививках, – от него. Как, впрочем, и многое другое. Через византийское и болгарское влияния платоновские идеи пришли в Киевскую Русь. Платона почитали Отцы Церкви, автор Шестоднева Василий Великий называл Платона первым философом, ссылались на него и Григорий Нисский, и Иоанн Златоуст, Ефрем Сирий и другие. Платоновские рассуждения и истории легли в основу исихазма, оплодотворившего и мировоззрение Нила Сорского, а через него и взгляды “заволжских старцев” с их богословско-политической программой нестяжательства. Мощное влияние платоновских идей длилось вплоть до XVIII века, когда родились уже родители и Обломова, и Ильинской, их деды вполне могли зачитываться и диалогами Сковороды, и Щербатовым (“Размышления о смертном часе”, “Разговор о бессмертии души”), и “Добротолубием” Паисия Величковского и так далее и тому подобное.

Но читали ли все они совершенно еретический и крамольный “Пир”? Церковники – конечно. Отчего бы шире не прочесть любимого автора, благо язык его им был доступен? Но главное тут не чтение, а давность: история эта к моменту возникновения любовных признаний XIX века давно уже обрусела, превратилась в пресловутую историю о двух половинах, не объясняющая только одного – страсти и безумия, с чем ответственно помог весь контекст XIX века с его романтизмом, эгоцентризмом, атеизмом, щедро зачерпнутым не только из европейской литературы, но и из античности.

Все, канон устоялся. Все в нем встало на свои места. Страдать, признаваться, стыдиться, извиняться, чувствовать гибельность без.

Дети, еще не ведавшие страсти, твердо усвоили лексикон страдательности и иррациональности из школьных хрестоматий по литературе. Они поняли, что в любви объясняются, признаются, предварительно намучавшись, а не деловито ставят в известность. Объясняются – потому что в ней все непонятное, а признаются – потому что за ней спрятаны стыд, срам, грех и преступление.

Почему стыдно – вопрос, и детям объяснить трудно, но мы понимаем: в любви признаваться страшно, мучительно и стыдно именно потому, что почувствовавший любовь ополовинивается, осознает себя самонедостаточным, недочеловеком, калеккой, без другого он

лишь Уг, ему нужна половина до целого. Он и есть пол, свой пол (называемый еще по-русски срамом и стыдом). Русское слово *пол* и произошло от слова *половина*. Пол – это как раз линия отрыва, то, что об этом напоминает. Точно о том же трактует и слово *sex*, родственное слову *секатор* или *сектор*. Секс у человека – это то место, где его отрезали и через которое он может обрести целостность. Говоря о своей любви, люди обнажают свой пол в широком смысле слова, даже герои русской классики, совсем уж бестелесные, и те страшно стыдятся своих признаний, как стыдились бы оскорбительной для другого собственной наготы.

Если отбросить всю эту метафизику, то ни Штольцу, ни чеховскому Лопухину, никому другому практическому человеку никогда и не уразуметь, что стыдного в любовном признании. Ну подумаешь, сказал девушке “люблю”, так что ж того? Когда это не та самая любовь из “Пира”, то и вправду ничего. Поболит – пройдет, мало ли на свете представителей противоположного пола!

Но платоновская любовь со вселившейся в нее русской душой – совсем другое дело. Эти вот самые слова – объяснение и признание, с акцентом на непонятность и скрытое преступление – наше русское словесно-душевное изобретение. Объясняемся и признаемся только мы, а европейцы попросту говорят о своей любви (*dire, tell*) без наших тонкостей и уточнений.

Вот и Штольц, объясняясь в любви, попросту *tells* о ней. Почти даже назвав само это чувство болезнью мозга:

– Но я вас люблю, Ольга Сергеевна! – сказал он почти сурово. – Вы видели, что в эти полгода делалось со мной! Чего же вам хочется: полного торжества? чтоб я зачах или рехнулся? Покорно благодарю!

На объяснение он пошел, расстроившись от своего внешнего вида, посмотревшись в зеркало: “Нет сил! – говорил он дальше, глядясь в зеркало. – Я ни на что не похож... Довольно!”.

Циник ли он? Да нет. Обычный крепкий парень, вменяемый, совершенно не желающий идти на крест из-за пришедшего чувства. Он и объясняется-то, чтобы наладить обмен веществ. И Ольга вполне ему пара, несмотря на всю свою вегетатику, взбудораженную Обломовым. Но любила-то она Илью Ильича. Именно потому, что он в отличие от Штольца – типичная половина, душа прекрасная, чувствительная, а воли – ноль. Вот приставь к нему волю, и пойдет сотворенный из двух половин человек, зашагает, побежит. Такая половинка для русского женского сердца – сладкая приманка, кому еще как не ему впору служить, приносить жертвы, спасти от неминуемой гибели.

Оболтус Обломов в своей половинчатости ничем не уступает Демону или Инсарову/Рахметову/Базарову, тоже идеальным половинкам, наделенным волей, но лишенным чувств. Женщины оттого так и любят такой тип, что есть что отдать гению или герою, все у него сосредоточено на одном и все ведет к бессмертию, а теплоты и жизни, простой обыденности им не хватает. Обломов такой же идеальный объект для помещения в него чувств русской женщины. Настоящий русский любовный герой – никакой надежды – погибнет определенно. Есть в нем и антиобыденность, и непрагматичность, качества удачно приправляющие гибельность и возбуждающие женскую готовность сделаться половиной, парой, опорой. Но русская любовь почти никогда не заканчивается счастьем, половины не сходятся. Потому что – не судьба. Старшая сестра-судженица всегда в меньшинстве, и поэтому ее голос всегда намного слабее злобного шипения ее сестер.

## Обрыв (1869)

ИВАН ГОНЧАРОВ

Он прошел окраины сада, полагая, что Веру нечего искать там, где обыкновенно бывают другие, а надо забираться в глушь, к обрыву, по скату берега, где она любила гулять. Но нигде ее не было, и он пошел уже домой, чтоб спросить кого-нибудь о ней, как вдруг увидел ее сидящую в саду, в десяти саженьях от дома.

– Ах! – сказал он, – ты тут, а я ищу тебя по всем углам...

– А я вас жду здесь... – отвечала она.

На него вдруг будто среди зимы пахнуло южным ветром.

– Ты ждешь меня! – произнес он не своим голосом, глядя на нее с изумлением и страстными до воспаления глазами. – Может ли это быть?

– Отчего же нет? ведь вы искали меня...

– Да, я хотел объясниться с тобой.

– И я с вами.

– Что же ты хотела сказать мне?

– А вы мне что?

– Сначала скажи ты, а потом я...

– Нет, вы скажите, а потом я...

– Хорошо, – сказал он, подумавши, и сел около нее, – я хотел спросить тебя, зачем ты бегаешь от меня?

– А я хотела спросить, зачем вы меня преследуете?

Райский упал с облаков.

– И только? – сказал он.

– Пока только: посмотрю, что вы скажете?

– Но я не преследую тебя: скорее удаляюсь, даже мало говорю...

– Есть разные способы преследовать, cousin: вы избрали самый неудобный для меня...

– Помилуй, я почти не говорю с тобой...

– Правда, вы редко говорите со мной, не глядите прямо, а бросаете на меня исподлобья злые взгляды – это тоже своего рода преследование. Но если б только это и было...

– А что же еще?

– А еще – вы следите за мной исподтишка: вы раньше всех встаете и ждете моего пробуждения, когда я отдерну у себя занавеску, открою окно. Потом, только лишь я перехожу к бабушке, вы избираете другой пункт наблюдения и следите, куда я пойду, какую дорожку выберу в саду, где сяду, какую книгу читаю, знаете каждое слово, какое кому скажу... Потом встречаетесь со мною...

– Очень редко, – сказал он.

– Правда, в неделю раза два-три: это не часто и не могло бы надоесть: напротив, – если б делалось без намерения, а так, само собой. Но это все делается с умыслом: в каждом вашем взгляде и шаге я вижу одно – неотступное желание не давать мне покоя, посягать на каждый мой взгляд, слово, даже на мои мысли... По какому праву, позвольте вас спросить?

Он изумился смелости, независимости мысли, желания и этой свободе речи. Перед ним была не девочка, прячущаяся от него от робости, как казалось ему, от страха за свое самолюбие при неравной встрече умов, понятий, образований. Это новое лицо, новая Вера!

– А если тебе так кажется... – нерешительно заметил он, еще не придя в себя от удивления.

– Не лгите! – перебила она. – Если вам удастся замечать каждый мой шаг и движение, то и мне позвольте чувствовать неловкость такого наблюдения: скажу вам откровенно – это тяготит меня. Это какая-то неволя, тюрьма. Я, слава богу, не в плену у турецкого паши...

– Чего же ты хочешь: что надо мне сделать?..

– Вот об этом я и хотела поговорить с вами теперь. Скажите прежде, чего вы хотите от меня?

– Нет, ты скажи, – настаивал он, всё еще озадаченный и совершенно покоренный этими новыми и неожиданными сторонами ума и характера, бросившими страшный блеск на всю ее и без того сияющую красоту.

Он чувствовал уже, что наслаждение этой красотой переходит у него в страдание.

– Чего я хочу? – повторила она, – свободы!

С новым изумлением взглянул он на нее.

– Свободы! – повторил он, – я первый партизан и рыцарь ее – и потому...

– И потому не даете свободно дышать бедной девушке...

– Ах, Вера, зачем так дурно заключать обо мне? Между нами недоразумение: мы не поняли друг друга – объяснимся – и, может быть, мы будем друзьями.

Она вдруг взглянула на него испытующим взглядом.

– Может ли это быть? – сказала она, – я бы рада была ошибиться.

– Вот моя рука, что это так: буду другом, братом – чем хочешь, требуй жертв.

– Жертв не надо, – сказала она, – вы не отвечали на мой вопрос: чего вы хотите от меня?

– Как “чего хочу”: я не понимаю, что ты хочешь сказать.

– Зачем преследуете меня, смотрите такими странными глазами? Что вам нужно?

– Мне ничего не нужно: но ты сама должна знать, какими другими глазами, как не жадными, влюбленными, может мужчина смотреть на твою поразительную красоту...

Она не дала ему договорить, вспыхнула и быстро встала с места.

– Как вы смеете говорить это? – сказала она, глядя на него с ног до головы. И он глядел на нее с изумлением, большими глазами.

– Что ты, бог с тобой, Вера: что я сказал?

– Вы, гордый, развитой ум, “рыцарь свободы”, не стыдитесь признаться...

– Что красота вызывает поклонение и что я поклоняюсь тебе: какое преступление!

– Вы даже не понимаете, я вижу, как это оскорбительно! Осмелились бы вы глядеть на меня этими “жадными” глазами, если б около меня был зоркий муж, заботливый отец, строгий брат? Нет, вы не гонялись бы за мной, не дулись бы на меня по целым дням без причины, не подсматривали бы, как шпион, и не посягали бы на мой покой и свободу! Скажите, чем я подала вам повод смотреть на меня иначе, нежели как бы смотрели вы на всякую другую, хорошо защищенную женщину?

– Красота возбуждает удивление: это ее право...

– Красота, – перебила она, – имеет также право на уважение и свободу...

– Опять свобода!

– Да, и опять, и опять! “Красота, красота!” Далась вам моя красота! Ну, хорошо, красота: так что же? Разве это яблоки, которые висят через забор и которые может рвать каждый прохожий?

– Каково! – с изумлением, совсем растерянный говорил Райский. – Чего же ты хочешь от меня?

– Ничего: я жила здесь без вас, уедете – и я буду опять так же жить...

– Ты велишь мне уехать: изволь – я готов...

– Вы у себя дома: я умею уважать “ваши права” и не могу требовать этого...

– Ну, чего ты хочешь – я все сделаю, скажи, не сердись! – просил он, взяв ее за обе руки. – Я виноват перед тобой: я артист, у меня впечатлительная натура, и я, может быть,

слишком живо поддался впечатлению, выразил свое участие – конечно, потому, что я не совсем тебе чужой. Будь я посторонний тебе, разумеется, я бы воздержался. Я бросился немного слепо, обжегся – ну, и не беда! Ты мне дала хороший урок. Помиримся же: скажи мне свои желания, я исполню их свято... и будем друзьями! Право, я не заслуживаю этих упреков, всей этой грозы... Может быть, ты и не совсем поняла меня...

Она подала ему руку.

– И я вышла из себя по-пустому. Я вижу, что вы очень умны, во-первых, – сказала она, – во-вторых, кажется, добры и справедливы: это доказывает теперешнее ваше сознание... Посмотрим – будете ли вы великодушны со мной...

– Буду, буду, твори свою волю надо мной и увидишь... – опять с увлечением заговорил он.

Она тихо отняла руку, которую было положила на его руку.

– Нет, – сказала она полусерьезно, – по этому восторженному языку я вижу, что мы от дружбы далеко.

– Ах, эти женщины со своей дружбой! – с досадой отозвался Райский, – точно кулич в именины подносят!

– Вот и эта досада не обещает хорошего!

Она было встала.

– Нет, нет, не уходи: мне так хорошо с тобой! – говорил он, удерживая ее, – мы еще не объяснились. Скажи, что тебе не нравится, что нравится – я все сделаю, чтоб заслужить твою дружбу...

– Я вам в самом начале сказала, как заслужить ее: помните? Не наблюдать за мной, оставить в покое, даже не замечать меня – и я тогда сама приду в вашу комнату, назначим часы проводить вместе, читать, гулять... Однако вы ничего не сделали...

– Ты требуешь, Вера, чтоб я был к тебе совершенно равнодушен?

– Да.

– Не замечал твоей красоты, смотрел бы на тебя, как на бабушку...

– Да.

– А ты по какому праву требуешь этого?

– По праву свободы!

– Но если б я поклонялся молча, издали, ты бы не замечала и не знала этого... ты запретить этого не можешь. Что тебе за дело?

– Стыдитесь, cousin! Времена Вертеров и Шарлотт прошли. Разве это возможно? При этом я замечу страстные взгляды, любовное шпионство – мне опять надоест, будет противно...

– Ты вовсе не кокетка: хоть бы ты подала надежду, сказала бы, что упорная страсть может растопить лед, и со временем взаимность прокрадется в сердце...



Он произносил эти слова медленно, ожидая, не вырвется ли у ней какой-нибудь знак отдаленной надежды, хоть неизвестности, чего-нибудь...

– Это правда, – сказала она, – я ненавижу кокетство и не понимаю, как не скучно привлекать эти поклонения, когда не намерена и не можешь отвечать на вызванное чувство?..

– А ты... не можешь?

– Не могу.

– Почему ты знаешь: может быть, придет время...

– Не ждите, cousin, не придет.

“Что это они – как будто сговорились с Беловодовой: наладили одно и то же!” – подумал он.

– Ты не свободна, любишь? – с испугом спросил он.

Она нахмурилась и стала упорно смотреть на Волгу.

– Ну, если б и любила: что же, грех, нельзя, стыдно... вы не позволите, братец? – с насмешкой сказала она.

– Я!

– “Рыцарь свободы”! – еще насмешливее повторила она.

– Не смейся, Вера: да, я ее достойный рыцарь! Не позволить любить! Я тебе именно и несу проповедь этой свободы! Люби открыто, всенародно, не прячась: не бойся ни бабушки, никого! Старый мир разлагается, зазеленели новые всходы жизни – жизнь зовет к себе, открывает всем свои объятия. Видишь: ты молода, отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвеял дух свободы, у тебя уж явилось сознание своих прав, здравые идеи. Если заря свободы восходит для всех: ужели одна женщина останется рабой? Ты любишь? Говори смело... Страсть – это счастье. Дай хоть позавидовать тебе!

– Зачем я буду рассказывать, люблю я или нет? До этого никому нет дела. Я знаю, что я свободна, и никто не вправе требовать отчета от меня...

<...>

– Ваше сердце, Ульяна Андреевна, ваше внутреннее чувство... – говорил он.

– Еще что!

– Словом – совесть не угрызает вас, не шепчет вам, как глубоко оскорбляете вы бедного моего друга...

– Какой вздор вы говорите – тошно слушать! – сказала она, вдруг обернувшись к нему и взяв его за руки. – Ну кто его оскорбляет? Что вы мне мораль читаете! Леонтий не жалуется, ничего не говорит... Я ему отдала всю жизнь, пожертвовала собой: ему покойно, больше ничего не надо, а мне-то какво без любви! Какая бы другая связалась с ним!..

– Он так вас любит!

– Куда ему? Умеет ли он любить! Он даже и слова о любви не умеет сказать: выпучит глаза на меня – вот и вся любовь! точно пень! Дались ему книги, уткнет нос в них и возится с ними. Пусть же они и любят его! Я буду для него исправной женой, а любовницей (она сильно потрясла головой) – никогда!

– Да вы новейший философ, – весело заметил Райский, – не смешиваете любви с браком: мужу...

– Мужу – щи, чистую рубашку, мягкую подушку и покой...

– А любовь?

– А любовь... вот кому! – сказала она – и вдруг обвила руками около шеи Райского, затворила ему рот крепким и продолжительным поцелуем. Он остолбенел и даже зашатался на месте. А она не выпускала его шеи из объятий, обдавала искрами глаз, любуясь действием поцелуя.

– Пойдите... пойдите, – говорил он, озадаченный, – вспомните... я друг Леонтия, моя обязанность...

Она затворила ему рот маленькой рукой – и он... поцеловал руку.

“Нет! – говорил он, стараясь не глядеть на ее профиль и жмурясь от ее искристых, широко открытых глаз, – момент настал, брошу камень в эту холодную, бессердечную статую”. Он освободился из ее объятий, поправил смятые волосы, отступил на шаг и выпрямился.

– А стыд – куда вы дели его, Ульяна Андреевна? – сказал он резко.

– Стыд... стыд... – шептала она, обливаясь румянцем и пряча голову на его груди, – стыд я топлю в поцелуях...

Она опять прильнула к его щеке губами.

– Опомнитесь и оставьте меня! – строго сказал он, – если в доме моего друга поселился демон, я хочу быть ангелом-хранителем его покоя...

– Не говорите, ах, не говорите мне страшных слов... – почти простонала она. – Вам ли стыдить меня? Я постыдилась бы другого... А вы! Помните?.. Мне страшно, больно, я захвораю, умру... Мне тошно жить, здесь такая скука...

– Оправьтесь, встаньте, вспомните, что вы женщина... – говорил он.

Она судорожно, еще сильнее прижалась к нему, пряча голову у него на груди.

– Ах, – сказала она, – зачем, зачем вы... это говорите?.. Борис – милый Борис... вы ли это...

– Пустите меня! Я задыхаюсь в ваших объятиях! – сказал он, – я изменяю самому святому чувству – доверию друга... Стыд да падет на вашу голову!..

Она вздрогнула, потом вдруг вынула из кармана ключ, которым заперла дверь, и бросила ему в ноги.

После этого руки у ней упали неподвижно, она взглянула на Райского мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокруг себя, схватила себя обеими руками за голову – и испустила крик, так что Райский испугался и не рад был, что вздумал будить женское заснувшее чувство.

– Ульяна Андреевна! опомнитесь, придите в себя! – говорил он, стараясь удержать ее за руки. – Я нарочно, пошутил, виноват!.. – Но она не слушала, качала в отчаянии головой, рвала волосы, сжимала руки, вонзая ногти в ладони, и рыдала без слез.

– Что я, где я? – говорила она, ворочая вокруг себя изумленными глазами. – Стыд... стыд... – отрывисто вскрикивала она. – Боже мой, стыд... да, жжет – вот здесь!

Она рвала манишку на себе.

Он расстегнул, или скорее разорвал ей платье и положил ее на диван. Она металась, как в горячке, испуская вопли, так что слышно было на улице.

– Ульяна Андреевна, опомнитесь! – говорил он, ставши на колени, целуя ей руки, лоб, глаза. Она взглядывала мельком на него, делая большие глаза, как будто удивляясь, что он тут, потом вдруг судорожно прижимала его к груди и опять отталкивала, твердя: “стыд! стыд! жжет... вот здесь... душно...”



Он понял в ту минуту, что будить давно уснувший стыд следовало исподволь, с пощадой, если он не умер совсем, а только заглох: “Всё равно, – подумал он, – как пьяницу нельзя вдруг оторвать от чарки – горячка будет!”

Он не знал, что делать, отпер дверь, бросился в столовую, забежал с отчаяния в какой-то темный угол, выбежал в сад – чтоб позвать кухарку, зашел в кухню, хлопая дверьми – нигде ни души. Он захватил ковш воды, прибежал назад: одну минуту колебался, не уйти ли ему, но оставить ее одну в этом положении – казалось ему жестокостью.

Она все металась и стонала, волосы у ней густой косой рассыпались по плечам и груди. Он стал на колени, поцелуями зажимал ей рот, унимал стоны, целовал руки, глаза. Мало-помалу она ослабела, потом оставалась минут пять в забытьи, наконец пришла в себя, остановила на нем томный взгляд и – вдруг дико, бешено стиснула его руками за шею, прижала к груди и прошептала:

– Вы мой... мой!.. Не говорите мне страшных слов... “Оставь угрозы, свою Тамару не брани”, – повторила она Лермонтовский стих – с томною улыбкою.

“Господи! – застонало внутри его, – что мне делать!”

– Не станете? – шепотом прибавила она, крепко держа его за голову, – вы мой?

Райский не мог в ее руках повернуть головы, он поддерживал ее затылок и шею: римская камея лежала у него на ладони во всей прелести этих молящих глаз, полуоткрытых, горячих губ... Он не отводил глаз от ее профиля, у него закружилась голова... Румяные и жаркие щеки ее запылали ярче и жгли ему лицо. Она поцеловала его, он отдал поцелуй. Она прижала его крепче, прошептала чуть слышно:

– Вы мой теперь: никому не отдам вас!..

Он не бранил, не сказал больше ни одного “страшного” слова... “Громы” умолкли...

## Противоречия. Повесть из повседневной жизни (1847)

МИХАИЛ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826–1889)

На днях как-то мы сидели вдвоем и читали зандовского “Компаньйона”. Помните ли вы там сцену признания в любви Маркизы и Амори? помните ли вы обстановку этой сцены, описание ночи, местности и всех малейших подробностей признания? не правда ли, что в нашем взаимном положении не могло быть выбора романа более пагубного, что в этой сцене есть нечто в высшей степени опьяняющее, что чувствуешь, как любовь дошла тут до *plus ultra*<sup>7</sup> раздражения, что она давит, тяготит, что ей нужно, непременно нужно высказаться, выразиться наружу... И я видел, как жадно прислушивалась Таня к моему чтению, как поднималась и опускалась грудь ее, как все более и более приближалась она ко мне.

Я чувствовал и сознавал все это, — а все-таки читал, тогда как мне следовало бежать. Знаете ли, я был тогда очень жалок, я действовал по какому-то безотчетному инстинкту, даже не понимал более, что читал, и когда она положила руку свою ко мне на плечо, когда почувствовал я на щеках своих жаркое дыхание ее, вся кровь, казалось, хлынула мне в голову, слова останавливались на губах; наконец и самая книга выпала из рук.

И тогда началась между нами одна из тех сцен, которые так легко и вместе так трудно описывать, потому что в них нет ни слов, ни движения; весь смысл их заключается именно в этом упорном безмолвии, когда как будто и язык, и все существо человека скованы — под влиянием тяжелого очарования. Такое положение минутно, потому что тягостно, и человек сам, по невольному, бессознательному инстинкту, делает усилие, чтоб выйти из него, но тем неуловимее ощущения, которые овладевают душой в эту страшную минуту, тем труднее дать себе в них отчет. Когда я вышел из этого оцепенения, голова Тани лежала на плече моем, на губах ее играла едва заметная улыбка; но никогда, нигде не встречал я столько счастья, столько безмятежной и сладкой уверенности, сколько выражалось во всякой фибре этого прекрасного лица. Я был действительно увлечен, и когда она спросила, отчего я перестал читать, все, что накопилось в груди моей, все, что было исподволь подготовлено во мне этою сценою, вылилось наружу.

— Зачем читать? — отвечал я, с трудом скрывая свое волнение, — зачем читать? разве и без того непонятно?.. разве вы не видите, что я страдаю, что я болен? разве не чувствуете вы, что все уже сказано и нечего более объяснять?..

— Ну, видишь ли, — отвечала она, не поднимая своей головы, — ведь я знала, что ты меня любишь; я была уверена в этом... и напрасно будешь ты мне говорить, что любовь невозможна для тебя, как будто ей нужно чье-нибудь позволение, как будто она в нас — не против нас!..

Я молчал, потому что в эту минуту всякое слово ее было для меня истиной.

— Послушай, надо исправиться... нужно более жизни, менее рассудка. Зачем же жить, когда нет любви? Что же останется человеку, если отнять у него любовь? на чем отдохнуть, на чем успокоиться от ига жизни, как не на любви, этой поэзии жизни? Не чувствуешь ли ты холода и пустоты своего одинокого, эгоистического существования? не видишь ли ты смерти в самой жизни, когда не согрета она любовью? О нет, ты любишь, ты любишь меня... Я знаю, правда...

---

<sup>7</sup> крайних пределов [лат.].

И она то по-прежнему играла моими волосами и прижималась головою к плечу моему, то вдруг поднимала мою голову, смотрела мне прямо в глаза и говорила своим мягким, ласкающим голосом: “Без любви нет счастья, без любви холодно, грустно...”

И мне казалось в ту минуту холодно и грустно – без любви, и я в ту минуту помолодел, чувствовал себя здоровым и веселым, и слезы невольно навертывались на глазах, и я целовал ее руки, целовал ее волосы, смеялся и плакал, как ребенок; в груди моей что-то как будто порвалось, как будто наводнило радостью все мое существо.

– О, будем счастливы, будем любить! – говорил я, полный восторга, – любовь – смысл жизни, а жизнь благо! Будем же счастливы, и пусть пройдет вся жизнь наша, как один миг – миг вечного самозабвения и вечной любви!

– Да! будем счастливы, будем любить, – повторяла за мною Таня, прижимаясь к груди моей.

Это были сладкие минуты моей жизни, и ничто тяжелое не помрачало моего существования.

## Пошехонская старина (1887–1889)

МИХАИЛ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Но вот наконец его день наступил. Однажды, зная, что Милочка гостит у родных, он приехал к ним и, вопреки обыкновению, не застал в доме никого посторонних. Был темный октябрьский вечер; комната едва освещалась экономно расставленными сальными огарками; старики отдыхали; даже сестры точно сговорились и оставили Людмилу Андреевну одну. Она сидела в гостиной в обычной ленивой позе, и не то дремала, не то о чем-то думала.

– Об чем задумались? – спросил он, садясь возле нее.

– Так... ни об чем...

– Нет, я желал бы знать, что в вас происходит, когда вы, задумавшись, сидите одни.

– Чему же во мне происходить?..

Она сделала движение, чтобы полнее закутаться в старый драдедамовый платок, натянутый на ее плечи, и прижалась к спинке дивана.

– Вас ничто никогда не волновало? ничто не радовало, не огорчало? – продолжал допытываться он.

– Чему радоваться... вот мамаша часто бранит, – ну, разумеется...

– За что же она вас бранит?

– За все... за то, что я мало говорю, занять никого не умею...

– Ну так что ж за беда!

– Нехорошо это. Она об нас заботится, а я сама себе добра не желаю.

Бурмакин умилился.

– Милочка! – он, как и все в доме, называл ее уменьшительным именем, – вы святая!



Она вскинула на него удивленные глаза.

– Да, вы святая! – повторил он восторженно, – вы сами не сознаёте, сколько в вас женственного, непорочного! вы святая!

– Ах, что вы! разве такие святые бывают! Святые-то круглый год постятся, а я и в великий пост скромное ем.

Несмотря на явное простодушие, ответ этот еще более умилил Бурмакина.

– Вы олицетворение женственности, чистоты и красоты! – твердил он, – вы та святая простота, перед которой в благоговении преклоняются лучшие умы!

– И мамаша тоже говорит, что я проста.

– Ах, нет, я не в том смысле! я говорю, что в вас нет этой вычурности, деланости, лжи, которые так поражают в других девушках. Вы сама правда, сама непорочность... сама простота!

Он взял ее за руку, которую она без ужимок отдала ему.

– Скажите! – продолжал он, – вы никогда не думали о человеке, который отдал бы вам свою жизнь, который лелеял бы, холил вас, как святыню?

– Ах, что вы!

– Скажите, в состоянии ли вы были бы полюбить такого человека? раскрыли ли бы перед ним свою душу? сердце?

Она молчала; но в лице ее мелькнуло что-то похожее на застенчивое пробуждение.

– Скажите! – настаивал он, – если б этот человек был я; если б я поклялся отдать вам всего себя; если б я ради вас был готов погубить свою жизнь, свою душу...

Он крепко сжимал ее руку, сиюсь разгадать, какое действие произвело на нее его страстное излияние.

– А вы будете часто со мной в гости ездить? будете меня в платьица наряжать?

Она выговорила эти слова так уверенно, словно только одни они и назрели в глубинах ее “святой простоты”.

Даже Бурмакина удивила форма, в которую вылились эти вопросы. Если б она спросила его, будет ли он ее “баловать”, – о! он наверное ответил бы: баловать! ласкать! любить! и, может быть, даже бросился бы перед ней на колени. Но “ездить в гости”, “наряжать”! Что-то уж чересчур обнаженное слышалось в этих словах.

Он встал и в волнении начал ходить взад и вперед по комнате. Увы! дуновение жизни, очевидно, еще не коснулось этого загадочного существа, и весь вопрос заключался в том, способно ли сердце ее хоть когда-нибудь раскрыться навстречу этому дуновению. Целый рой противоречивых мыслей толпился в его голове, но толпился в таком беспорядке, что ни на одной из них он не мог остановиться. Разумеется, победу все-таки одержало то решение, которое уже заранее само собой созрело в его душе и наметило своего рода обязательную перспективу, обещавшую успокоение взволнованному чувству.

– Людмила Андреевна! – сказал он, торжественно протягивая ей руку, – я предлагаю вам свою руку, возьмите ее! Это рука честного человека, который бодро поведет вас по пути жизни в те высокие сферы, в которых безраздельно царят истина, добро и красота. Будемте муж и жена перед богом и людьми!

– Мамаша...

– Ах, нет, не упоминайте об мамаше! Пускай настоящая минута останется светла и без примеси. Я уважаю вашу мамашу, она достойная женщина! но пускай мы одним себе, одним внезапно раскрываемым сердцам нашим будем обязаны своим грядущим счастьем! Ведь вы мне дадите это счастье? дадите?

Она томно улыбнулась в ответ и потянула его за руку к себе. И вслед за тем, как бы охваченная наплывом чувства, она сама потянулась к нему и поцеловала его.

– Вот вам! – произнесла она, покрасневшись.

Когда старики Бурмакины проснулись, сын их уже был женихом. Дали знать Калерии Степановне, и вечер прошел оживленно в кругу “своих”. Валентин Осипович вышел из обычной застенчивости и охотно позволял шутить над собой, хотя от некоторых шуток его изрядно корбило. И так как приближались филипповки, то решено было играть свадьбу в рождественский мясоед.

Бурмакин был на вершине блаженства. Он потребовал, чтоб невеста его не уезжала в аббатство, и каждый день виделся с нею. Оба уединялись где-нибудь в уголку; он без умолку говорил, стараясь ввести ее в круг своих идеалов; она прислонялась головой к его плечу и томно прислушивалась к его слову.

– Истина, добро, красота – вот триада, которая может до краев переполнить существование человека и обладая которой он имеет полное основание считать себя обеспеченным от всевозможных жизненных невзгод. Служение этим идеалам дает ему убежище, в котором он

укроется от лицемерия, злобы и безобразия, царствующих окрест. Для того и даются избранным натурам идеалы, чтоб иго жизни не прикасалось к ним. Что такое жизнь, лишенная идеалов? Это совокупность развращающих мелочей, и только. Струнниковы, Пустотеловы, Перхуновы – вот люди, которых может удовлетворять такая жизнь и которые с наслаждением погрязают в тине ее... Нет, мы не так будем жить. Мы пойдем навстречу сочувствующим людям и в обмене мыслей, в общем служении идеалам будем искать удовлетворения высоким инстинктам, которые заставляют биться честные сердца... Милочка! ведь ты пойдешь за мною? пойдешь?

– Я поеду всюду, куда ты поедешь...

– Ах, нет, не то! я хотел спросить: понимаешь ты меня? понимаешь?

– Голубчик! ведь я еще глупенькая... приласкай меня!

– Нет, ты не глупенькая, ты святая! Ты истина, ты добро, ты красота, и все это облеченное в покров простоты! О святая! То, что таится во мне только в форме брожения, ты воплотила в жизнь, возвела в перл создания!

Он брал ее руки и страстно их целовал.

– Скучно тебе со мной? – спрашивал он ее, – скучно?

– Нет, а так...

– Ну вот, после свадьбы поедem в Москву, я тебя познакомлю с моими друзьями. Повеселим тебя. Я ведь понимаю, что тебе нужны радости... Серьезное придет в свое время, а покуда ты молода, пускай твоя жизнь течет радостно и светло.

## Приключения, почерпнутые из моря житейского (1846–1848)

АЛЕКСАНДР ВЕЛЬТМАН (1800–1870)

Федор Петрович не долго заставил себя ждать. По обычаю, в передней возгласили: “Пожалуйте!” Когда он вошел, Саломея Петровна громогласно пела какой-то чувствительный романс.

– Ах, это вы? – сказала она, оставляя рояль. – Рара и тапан скоро возвратятся, покорно прошу! Как вы провели время со вчерашнего дня?

– Очень приятно-с, смотрел редкости московские.

– И, вероятно, нашли много достопримечательного.

– Удивительные вещи: пушка особенно!

– Ах, вам понравилась большая пушка! – сказала Саломея улыбаясь, – да ведь она не годится ни на какое употребление.

– Как-с, ведь из нее, говорят, стреляют.

– Нет! где ж столько взять пороху.

– Пороху-с? что ж такое: почему же... порох – ничего-с.

– Впрочем, не знаю, вам это лучше известно... Были вы в театре?

– Нет-с, не был, все как-то еще не пришлось быть.

– О, так вам еще многое предстоит осмотреть в Москве: театр, благородное собрание... Здесь часто бывают концерты, маскарады; время проходит очень приятно; вы увидите, какой рай Москва, и не расстанетесь с ее удовольствиями. Летом на дачу, беганье, игры... Ах, какая у нас деревня! и невдалеке от Москвы...

Саломея Петровна насчитала столько удовольствий, предстоящих Федору Петровичу, что у него проявилась жажда скорее ими воспользоваться; она выпросила у него все его вкусы, все, что ему нравится, и привела его в совершенный восторг восклицаниями: ах, это и мой вкус! ах, и я ужасно как это люблю! ах, я совершенно согласна с вами!

– У вас живы еще родители?

– Нет-с, волею Божиею скончались.

– Так вы совершенно располагаете собою? Вероятно, у вас много родных?

– Ни одного человека-с.

– Ах, боже мой, как вам должно быть скучно! – произнесла Саломея Петровна, изменив вдруг мажор голоса на минор, – не иметь никого, кто бы привязывал вас к жизни! Что может заменить сладость семейной жизни: в ней только и живут удовольствия. Верно, этот недостаток очень чувствителен для вас?

– Очень-с, очень-с! – сказал Федор Петрович, проникнутый до глубины сердца этим недостатком, которого он до сих пор и не чувствовал.

– Ах, я понимаю, как это должно быть для вас горько; своя семья – это такое счастье!.. Взаимная любовь! О, я не удивляюсь теперь, что вы еще не пользовались удовольствиями Москвы. Вы, верно, и посреди людей чувствуете свое одиночество, не правда ли?

– Совершенно так-с! – произнес растроганный Федор Петрович. Никто еще в жизни не говорил с ним так сладко и с таким участием. – Я несчастный человек-с! – прибавил он.

– Отчего ж вы несчастливы? Вы располагаете сами собою; ваша судьба вполне от вас зависит. Девушка – совсем другое: девушка не может собою располагать.

– Отчего же, Саломея Петровна?

– Очень натурально; например, вы, как свободный человек, можете составить свое счастье по желанию, можете жениться на той, которую изберет ваше сердце; а не на той, которую стали бы вам навязывать на шею, – не правда ли?



– Совершенно так! могу сказать! Нет, уж мне не навяжут-с! – В мыслях Федора Петровича родилось подозрение, что ему хотят навязать Катеньку. – Нет-с, если уж жениться, так по выбору-с, – прибавил он.

– О, без сомнения, благородный человек так и думает. Представьте себе несчастье: навяжут какую-нибудь бессловесную дурочку, у которой нет ни сердца, ни души... Целый век прожить с таким существом! это ужасно!

Федору Петровичу опять представилась Катенька, стыдливая, скромная и молчаливая Катенька.

Он задумался, откашлянулся, проговорил:

– Совершенно так-с! – и опять замолчал.

Саломея Петровна поняла эту беспокойную задумчивость и в душе радовалась успеху своего замысла.

– Вы задумались; как бы я желала знать, о чем? – сказала она очень нежным голосом, но с улыбкою, которую понял по-своему Федор Петрович.

– Я-с... – начал Федор Петрович, но не мог продолжать, вынул из шляпы платок и отер лицо.

– Я люблю откровенность, – сказала простодушным голосом Саломея.

– Позвольте узнать, Саломея Петровна, правда ли, что вы никогда не выйдете замуж?

– Это кто вам сказал? – спросила с удивлением Саломея.

– Сказали-с...

– Я прошу вас сказать мне, кто и по какому случаю, – вы, верно, от меня не скроете, потому что вы благородный человек!

– Саломея Петровна, – отвечал робко Федор Петрович, – действительно, не могу скрыть от вас... потому что...

Федор Петрович остановился и не смел продолжать. Но Саломея Петровна поддержала его.

– Говорите, пожалуйста, прямо, – сказала она, – вы можете быть уверены, что все, что вы скажете, останется между нами.

Федор Петрович откашлянулся, снова отерся, как утомившийся до поту лица и принимающийся снова за тяжелую работу. Он придумывал, как бы красноречивее выразиться и вставить в свою речь судьбу.

– Потому что судьба-с, – начал он, – когда я увидел вас, зависит от этого... я тотчас же... но мне сказали, что вам и слышать не угодно...

Саломея Петровна поняла.

– Вам это сказали? – вскричала она, – какая низость!

– Сказали и предложили вашу сестрицу...

– А, теперь я понимаю! Вас хотели женить на моей сестре и потому-то находили предлоги удалять меня из дому, когда вы приезжали к нам... как вам это нравится?

– Помилуйте-с, как можно, чтоб это нравилось; я желаю получить вашу руку, Саломея Петровна, а не сестрицы вашей... Что ж мне сестрица!.. Если смею надеяться...

– Что-с? – произнесла Саломея с взволнованным чувством самолюбия. Оказанное простодушное предпочтение приятно польстило ей. “Он не так глуп, как я себе воображала, – подумала она, – он богат, его можно образовать”.

– Получить вашу руку! – едва проговорил Федор Петрович.

Саломею Петровну, казалось, смутило неожиданное предложение, но сердце ее прыгало от самодовольствия; в мыслях вертелось: “Да, да, я выйду за него... меня хотели провести; но я скорее проведу вас!.. Да мне же и надоели эти четыре стены и эта вечная зависимость!.., еще, чего доброго, обнищаем... поедem на заточение в деревню!.. Нет, лучше быть за уродом... и мало ли мужей дураков: скольких я ни знаю, все дураки... а он очень сносен; не светский человек – что за беда! я его образую! Да! и пусть все думают, что я вышла по страстной любви! не иначе! Не умели ценить меня, – пусть жалеют!..”

Федор Петрович ждал с трепетом ответа.

– Вы мне сделали честь, – сказала она, – я от нее не отказываюсь: вы мне нравитесь...

– Саломея Петровна! – вскричал было Федор Петрович.

– Ах, тише!.. Я вас прошу не говорить о моем согласии маменьке: это все расстроит. Вы когда опять будете к нам?

– Завтра же, если позволите.

– Вам назначили время?

– Нет, не назначили.

– Так сделайте так, как я вам скажу. Когда вас позовут на вечер, может быть и завтра, потому что, верно, торопятся навязать вам на шею мою сестрицу. Вы приедете... Да... нет, это не годится. Я знаю, что меня за вас по доброй воле не выдадут...

– Отчего же, Саломея Петровна?

– Отчего? оттого, что от меня требуют, чтоб я вышла за другого, а я лучше убегу из дому... я не могу против желания выйти замуж!..

Саломею Петровне непременно хотелось по крайней мере кончить девическое поприще романическим образом. Если б она была Елена и явился вторично Парис, готовый ее похитить, она бежала бы с ним только для того, чтоб снова возгорелась Троянская война и она имела бы право сказать: “Я причина этой войны”.

– Да! мне только остается бежать из дому с тем, кого люблю! другого средства нет! – прибавила она голосом томного отчаяния.

Федор Петрович был хоть и не из числа героев, но он слышал, что страстным любовникам почти всегда случается увозить своих милых.

- Что ж, Саломея Петровна, я вас увезу, если позволите, – сказал он расхрабрясь.
- О, я на все согласна! Но куда мы бежим?
- Куда угодно-с.
- Саломею Петровну, казалось, затруднил этот вопрос, и она вдумчиво спросила:
- Ваше имение далеко отсюда?
- Близёхонько, верст сто с небольшим; у меня там и дом, и все есть, и церковь, и все-с... Сделайте одолжение, Саломея Петровна... – сказал Федор Петрович, кланяясь.
- Я решилась... но каким же образом?
- Уж это как прикажете, – отвечал Федор Петрович, не зная сам, каким образом увозят.



Это покорное предоставление права распоряжаться было в духе Саломеи Петровны. Она подумала и сказала:

– Медлить нельзя; завтра в шесть часов вечера я приеду в галицынскую галерею... экипажу своему велите остановиться со стороны театра и ждите меня у входа. Только приезжайте в крытом экипаже, чтоб меня не узнали.

– Непременно-с, в шесть часов подле театра.

– Подле галицынской галереи.

– Непременно-с! – повторил Федор Петрович и замолк, не зная, что ему дальше говорить.

– Теперь нам должно расстаться: я думаю, татап скоро возвратится, – сказала Саломея, вставая и подавая руку.

Федор Петрович не умел пользоваться правами героев романа и не смел выйти из границ форменного поцелования руки; поцеловал, шаркнул, поклонился и отправился.

Быть героем, хоть и не настоящим, а романическим, очень приятно. Федор Петрович, несмотря на неопытность свою по части приключений любовных, чувствовал однако же наслаждение и какую-то торопливую деятельность во всех членах. В продолжение всей ночи перед ним развивался сказочный мир и похищение царевен.

## Рассказ Алексея Дмитрича (1848)

АЛЕКСАНДР ДРУЖИНИН (1824–1864)

Когда мы вышли из часовни, дикое расположение моего духа совершенно пропало. Вера Николаевна как будто не плакала, будто не молилась. Она была спокойна, даже немножко резва, на ее глазах не видно было и следов от слез. Я очутился опять влюбленным, счастливым юношей и собирал все мое хладнокровие для решительного объяснения.

– Вера Николаевна, – начал я, поддерживая ее при сходе с пригорка, – вы так умны, что с вами нет средств разговаривать романтическими фразами. Всякая “симпатия сердец”, всякое “клокотание страсти” тает и исчезает перед вашим светлым взглядом. Я буду говорить с вами очень просто. Я люблю вас до последнего предела всякой возможности, скажите мне так же откровенно: любите ли вы меня, хотите ли быть моей жен... нет, и это слишком высокопарно, хотите ли выйти за меня замуж?

Она ласково улыбнулась, смело взглянула на меня и немного покраснела. В этой краске проявилось не одно простое смущение, но и частичка привязанности.

– Вы здесь довольно погоревали, – продолжал я. – Мы поедем в Петербург, может быть, жизнь наша сначала будет и трудна, но ручаюсь вам, вы не увидите грязной бедности. У меня есть некоторое состояние и друзья довольно сильные...

– Я люблю вас, очень люблю вас, – перебила речь мою Веринька, – только я не поеду отсюда, я не брошу отца одного.

Я помолчал немного и снова начал разговор.

– Я от души уважаю вашего батюшку, – сказал я, – только, признаюсь откровенно, я ревную вас к нему. Привязанность дочери так сильна в вас, что вам некогда подумать о будущем муже.

Она опустила глаза.

– Вы говорите неоткровенно, – сказала она, – я вижу, вы не отца боитесь...

– Да, я боюсь не отца вашего, а той страшной, утомительной борьбы, которую вы за него выдерживаете. Я понимаю вашу жизнь, удивляюсь вам, я вижу, куда тратятся ваши силы, для какого святого дела они напрягаются и гибнут. А вместе с тем я хочу любви вашей. Любовь эта невозможна в теперешних обстоятельствах. Для вас предстоит выбор: любовь или борьба, муж или отец.

– Не думайте, – продолжал я шутливым тоном, чтоб смягчить мою патетическую тираду, – не думайте, чтоб я укорял вас в холодности. В моих глазах вы своего рода Наполеон, ваша борьба с семейною жизнью стоит его гигантских кампаний. Император французский перед своими походами, вероятно, не очень любезен был с женщинами: вы находитесь в таком же положении. В ваших глазах читаю я рассказ не об одном Маренго, не об одном Ваграме, может быть, не об одной Ватерлооской баталии...

Вера Николаевна вся вспыхнула. Я тронул ее слабую струну.

– В таком случае, – быстро произнесла она, – чего же вы хотите от меня? Соглашусь ли я уехать отсюда, решусь ли я оставить его одного с...

Она вдруг остановилась. Я удивлялся ее самообладанию, я не помнил себя, я уничтожался перед этою дивною исключительною женщиною. Холодность моя уничтожилась, я дрожал, я сходил с ума, я едва не упал перед нею на колени.

– Коли так надо, – с увлечением говорил я, – коли мои просьбы не склоняют вас, я решаюсь на все, я остаюсь с вами. Я забываю вражду мою к семейным раздорам, забываю тяжкое время моего детства, я приношу себя всего на жертву вашему отцу. Я буду ждать вашей любви целые годы. Я буду охранять вас, любить вас без надежды на взаимность, и

горе тому, кто посмеет оскорбить вас, кто только подумает смутить вашу привязанность, кто с благоговением не преклонится перед вашими поступками...

– Друг мой, – тихо сказала она, – угрозы ваши не помогут в этом деле.

Эти десять слов разом перевернули все мое направление. Я понял ничтожность юношеской моей запальчивости, но любовь моя ни насколько не ослабела.

– Извольте, – сказал я, – если надо, я готов молчать, готов переносить все, поселиться у вас и сделаться самым безгласным членом вашего семейства. Службу оставить мне не стоит большого труда. Обещаюсь повиноваться вам во всем и действовать заодно с вами.

Я знал хорошо, что я накликаю на себя гибель, но в эту минуту страсть увлекала меня.

Вера Николаевна улыбнулась и с прежнею приветливостью поглядела на меня.

– Так и надо, – заметила она. – Только я вам не даю еще слова. Перед моим согласием надобно объяснить вам мое положение, как можно подробнее. Тогда, если вы не перемените мыслей...

– Говорите же, говорите же теперь, – торопил я ее, дрожа от нетерпения.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.